

О РОМАНЕ Н. ПОЛЕВОГО
«КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»¹

La critique, dans les époques de transition, tient lieu fort bien de tout ce qui n'est plus et de ce qui n'est pas encore. La critique alors, c'est tout le poème, c'est tout le drame, c'est toute la comédie, c'est tout le théâtre, c'est tout ce qui occupe les esprits; c'est la critique qui passionne et qui amuse; c'est elle qui éclaire et qui brûle, c'est elle qui fait vivre et qui tue...

*Jules Janin*²

Знать, в добрый час благословил нас Ф. В. Булгарин своими романами. По дорожке, проторенной его «Самозванцем», кинулись дюжины писателей наперегонку, будто

* Истинно загадочное в человечестве — это человек (англ.). —
Ред.

соревнуя конским ристаниям, появившимся на Руси в одно время с романизмом. Москва и Петербург пошли стена на стену. Перекрестный огонь загорелся из всех книжных лавок, и вот роман за романом полетели в голову доброго русского народа, которому, бог ведает с чего, припала смертная охота к гражданской печати, к своему родному, доморощенному. И то сказать: французский суп приелся ему с 1812 года, немецкий бутерброд под туманом пришел вовсе не по желудку, в английском ростбифе, говорит он, чересчур много крови да перцу, даже ячменный хлеб Вальтера Скотта набил оскомину, — одним словом, переводы со всех возможных языков надоели землякам пуше ненастного лета. Стихотворцы, правда, не переставали стрекотать во всех углах, но стихов никто не стал слушать, когда все стали их писать. Наконец рассеянный ропот слился в общий крик: «Прозы, прозы! Воды, простой воды!»

На святой Руси по сочинителей не клич кликать: стоит крякнуть да денежкой брякнуть, так набежит, наползет их полторы тьмы с потемками. Так и случилось. Чернильные тучи взошли от поля и от моря: закричали гуси, ошипанные без милосердия, и запищали гусиные перья со всеусердием. Прежние наши романисты, забытой памяти Федор Эмин, Нарезный, Марья Извекова, Александр Измайлов, скромненько начинали с какого-нибудь «Никанора, несчастного дворянина», с «Евгения, или Пагубные следствия дурного воспитания»³, с русского «Жилблаза», который не чуждался ни чарки, ни палки. Тогда вороны не летали в хоромы!.. Добрые, простые времена! Но мы нашли, что простота хуже воровства. Острые локти наши, которые тоже любят простор, проглянули из тесных рукавов Митрофанушкина кафтана... иной бы сказал, что у нас выросли крылья, — так бойко начали мы метаться вдаль и в воздух. История сделалась страстью Европы, и мы сунули нос в историю; а русский ни с мечом, ни с калачом шутить не любит. Подавай ему героя охвата в три, ростом с Ивана Великого⁴ и с таким славным именем, что натошак и не выговорить. Искромсали Карамзина в лоскутки; доскреблись и до архивной пыли; обобрали кругом изустное предание; не завалилась даже за печкой никакая сказка, ни присказка. Мало нам истории, принялись мы и за мораль. «Нравоописательных ли, нравственно ли сатирических, сатирико-исторических ли романов? Милости просим! Кто купит?» О, наверно уж не я! В осьмую долю листа, в восемнадцатую долю смысла, хоть торцовую

мостовую мости. И надобно сказать, что все они с отличным поведением: порокам у них нет повадки; колют не в бровь, а прямо в глаз, не то что у иностранцев: на щипок нравоучения не возьмешь... У нас, батюшка, его не продают, будто краденое из-под огонь; у нас оно облуплено, словно луковка: кушай да локтем слезы вытирай. А уж про склад и говорить нечего! В полдюжины лет нажили мы не одну дюжину романов, подснежных, подовых⁵ романов, романов, в которых есть и русский квас, и русский хмель; есть прибаутки и пословицы, от которых не отказался бы ни один десятский; есть и лубочные картинки нашего быта, раскрашенные матушкой грязью; есть в них все, кроме русского духа, все, кроме русского народа! Со всем тем почтеннейшая толпа земляков моих верит, что она покупает мумию русской старины во французской обертке, с готическими виньетками, с картинками, резанными в Вене; верит, что эти романы — ее предки или современники; верит с тупоумием старика или с простоумием ребенка и целуется с этими куклами-самоделками; покупает не накупится; читает не нахвалится. Книгопродавцы из бельэтажа собственного дома поглядывают на бульвар и напевают: «Велик бог Израилев!» Добрейшие люди! А господа сочинители, возвратясь с какого-нибудь жирного новоселья⁶, и гордо развязывая гордые узлы густо накрахмаленного галстука, и с улыбкою трепля свою шавку, говорят ей: «Гафиз, друг мой, знаешь ли ты, что я русский Вальтер Скотт!» Заметьте, я сказал: *накрахмаленный галстук*; это недаром, милостивые государи! Это предполагает чистый галстук; а чистый галстук предполагает, что владелец его посещает хорошее общество, а хорошее общество требует прежде блестящих сапогов, чем блестящего дарования, следственно, сочинитель наш должен ездить, по крайней мере в гости, в экипаже. Надеюсь, вы теперь меня понимаете! На моей еще памяти иные истинные таланты носили черные галстуки и в праздник; ходили — увы! — даже не в резиновых галошах по слякоти и — что греха таить? — кланялись в пояс пустым каретам. Слава богу, слава нашему времени, скажу и я вместе с вами, которое за чернила платит шампанским и обращает в ассигнации листки тетрадей. Я не буду неблагодарен ни к правительству, которое ободряет и ограждает умственные труды, ни к публике, начинающей ценить нераздельно с сочинением и сочинителя; но я не буду и льстить нашим романописцам.

Подумав беспристрастно, я скажу свое мнение откровенно; но крайней мере, ручаюсь за последнее. Я думаю, что, несмотря на многочисленность наших романов, несмотря на запрос на романы, едва ль не превышающий готовность составлять их, несмотря на ободрение властей, мы бедны, едва ль не нищи оригинальными произведениями сего рода.

Отчего это?

Признаться, на такой вопрос так же трудно отвечать, как на тот, почему у Касьяна черные глаза, когда у матери и отца они голубые? Или почему огурец зелен, а смородинка красна, хоть они растут на одном и том же солнце? На нет и суда нет; та беда, что и на *есть* не подберем мы причины: зачем оно так, а не иначе?

Но пересеем повнимательнее то, о чем говорил я шутя, и, быть может, мы найдем разгадку если не посредственности наших романов исторических, то успеху исторических романов. В этот раз я не трону даже мягким концом пера нравственно-сатирических романов: пускай себе шлятся по сельским ярмаркам или почивут в мире и в пыли. В утешение господ сочинителей их, признаюсь, что прочесть иных не имел я случая, других не стало терпения дочесть, а многих, очень многих я вовсе читать не стану, хотя бы за этот подвиг избрали меня в почетные члены Сен-Домингской академии. Это дело решенное.

Мы живем в веке романтизма.

Есть люди, есть куча людей, которые воображают, что романтизм в отношении к читателям мода, в отношении к сочинителям причуда, а вовсе не потребность века, не жажда ума народного, не зов души человеческой. По их мнению, он износится и забудется, как перстеньки с хлориновой известью от холеры, будет брошен, как ленты à la giraffe, как перчатки à la Rossini иль d'une altra bestia *, что, наконец, он минует, пройдет. Другие простирают староверство до неверия, до безусловного отрицания бытия романтизма. «Все, что есть, то было; все, что было, то будет; ничто не ново под луною!» ⁷ Согласен!.. Луна есть светило ночное, а ночью все кошки серы; но, ради бога, господ, осмотритесь хорошенько: нет ли чего нового под солнцем? Знаете ли вы, милостивые государи, что утверждать подобные вещи в наше время есть только героизм глупости — ничего более. Может ли сомнение в истине

* другое животное (франц. и итал.). — Ред.

уничтожить самую истину, неужели романтизм, заключенный в природе человека и столь резко проявленный на самом деле, перестанет *быть*, оттого что его читают, не понимая, или пишут о нем, не думая?

Мы живем в веке романтизма, сказал я: это во-первых. Мы живем в веке историческом; потом в веке историческом по превосходству. История была всегда, свершалась всегда. Но она ходила сперва неслышно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, как тать. Она буянила и прежде, разбивала царства, ничтожила народы, бросала героев в прах, выводила в князи из грязи; но народы после тяжкого похмелья забывали вчерашние кровавые попойки, и скоро история оборачивалась сказкою. Теперь иное. Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно; она проникает в нас всеми чувствами. Она толкает нас локтями на прогулке, втирается между вами и дамой вашей в котильон. «Барин, барин! — кричит вам гостинодворский сиделец. — Купите шапку-эриванку». — «Не прикажете ли скроить вам сюртук *по-варшавски*?» спрашивает портной⁸. Скачет лошадь — это Веллингтон. Взглядывает на вывеску — Кутузов манит вас в гостиницу, возбуждая вместе народную гордость и аппетит. Берете щепотку табаку — он куплен с молотка после Карла X. Запечатываете письмо — сургуч императора Франца. Вонзаете вилку в сладкий пирог, и — его имя Наполеон!.. Дайте гривну, и вам покажут за гривну злосчастье веков, Клитемнестру и Шенье, убийство Генриха IV и Ватерлоо, Березину и Св. Елену, потоп петербургский и землетрясение Лиссабона — и что я знаю!.. Разменяйте белую бумажку⁹, — и вы будете кушать славу, слушать славу, курить славу, утираться славой, топтать ее подошвами. Да-с, история теперь превращается во все, что вам угодно, хотя, бы вам было это вовсе не угодно. Она верна, как Обриева собака;¹⁰ она воровка, как сорока-воровка; она смела, как русский солдат; она бесстыдна, как блинница;¹¹ она точна, как Брегетовы часы; она причудлива, как знатная барыня. Она то герой, то скоморох; она Нибур и Видок¹² через строчку, она весь народ, она история, наша история, созданная нами, для нас живущая. Мы обвенчались с ней волей и неволею, и нет развода. История — *половина* наша, во всей тяжести этого слова.

Вот ключ двойственного направления современной словесности: романтически-исторического. Надобно сказать

однажды навсегда, что под именем романтизма разумею я стремление бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах. А потому я считаю его ровесником душе человеческой... А потому я думаю, что по духу и сущности есть только две литературы: это литература до христианства и литература со времен христианства. Я назвал бы первую литературой *судьбы*, вторую — литературой *воли*. В первой преобладают чувства и вещественные образы; во второй царствует душа, побеждают мысли. Первая — лобное место, где рок — палач, человек — жертва; вторая — поле битвы, на коем сражаются страсти с волею, над коим порой мелькает тень руки провидения. Ничтожные случайности дали древней литературе имя классической, а новой имя романтической, столь же справедливо, как Новый Свет окрестили Америкой, хотя открыл его Колумб¹³. Мы отбросим в сторону имена, мы, которые видели столько полновесных имен, придавших щедушных своих владельцев, как гробовая плита, мы, которые слышали столько простонародных имен, ставших торжественною песнею народов! Какое нам дело, что слепца Омири и щеголя Virgiliya засадили в классы под розгу Аристотеля; какое нам дело, что романские трубадуры, таскаясь по свету, разнесли повсюду свои сказки и припевы; какое нам дело: классы ли, Романия ли дали имя двум словесностям!..¹⁴ Нам нужен конь, а не попона.

Возьмемся же за первобытную словесность, начнем с яиц Леды¹⁵, — и почему, в самом деле, не так? Разве эту фигуру не считают началом мира и человека? Я надеюсь, что вы читали Лукреция и Окена? Я надеюсь, что вы уже держали экзамен в ассессоры!

Не помню, кто первый сказал, что первобытная поэзия всех народов была гимн. По крайней мере, это мнение приняло чекан Виктора Гюго. Мнение, правда, блестящее, но ни на чем не основанное: «Человек, изумленный, пораженный чудесами природы, величием мира, необходимо должен был славить творца или творение. Удивление его излилось гармоническою песнею: то был гимн!» Итак, человек пел по нотам прежде, чем говорил; итак, первая песня его была благодарность или торжество! Хорошо сказано! Жаль только, что этот первенец-певчий вовсе не сходен ни с вероятностью, ни с сущностью. Первенцы мира слишком озабочены были сначала тем, чтобы себе заверить бедное существование, ночь за день, день за ночь! Лишенные всякой защиты и оружия от природы, они должны были

сражаться с непогодами, с землею, со зверями, и когда развернулось в них немножко ума, привычка, наверно, убила уже удивление к чудесам природы. Торжествовать ему было еще менее причины — ему, бедняге, пущенному в лес без шерсти от слепней, от холода, без клыков слона, без когтей тигра, без глаз рыси, чтобы увидеть издали добычу, без крыльев орла, чтобы достичь ее. Очень сомневаюсь я, чтобы ему приходило на ум петь соловьем, умирая с голода. Что же касается до гимна благодарности, то мне хочется и плакать и смеяться: плакать за праотцев, смеяться с господами систематиками, которые порой мистифируют нас себе на потеху. Вы забыли, конечно, что тогда не было еще ни *mr. Буту*, ни *Бретигама*¹⁶, чтобы одеть и обуть странника, не было трехэтажных гостиниц для ночлега, не было зонтиков и отводков, не было двухствольных ружьев с пистонами, не было карет на рессорах. Греки, правда, проскакавши в колесницах олимпийских, распевали гимны, но слава заменяла им рессоры. Зачем же, скажите мне, не поете их вы, баловни XIX века, вы, у которых есть и слава и рессоры? Скажите же или пропойте мне это! Чудной народ! Хотят заставить петь гимны дикаря, который учился говорить у шакалов, и молчат сами, слышав столько раз *мамзель Зонтаг*!¹⁷ Притом я не знаю еще, признаете ли вы Индию люлькою человеческого рода (это мнение убаюкало многих) или с Ласепедом полагаете четыре первобытные племени;¹⁸ или, наконец, помирив, схватив за волосы обе эти системы (миротворство — точка сумасшествия нашего времени), вы думаете, что Атлас, Гималаия, Кавказ и Кордильеры, как добрые кони, на хребтах своих развезли из Индии племя человек, что полутигр готтентот, полуорел черкес и полусемга лопарь родные братья? Но пусть наша первая, наша общая отчизна Индия; съездимте ж в Индию волей и неволей: видно, не миновать нам Индии. Господа физиологи могут там изучить холеру в оригинале, господа археологи — увериться, что (по зодчеству своему) церковь Василия Блаженного родная внучка такому-то или такому-то пагоду в Балбеке, а господа поэты — доучиться санскритскому языку, который похож на русский, словно две капли чернил, языку, на котором они сделали такие блестящие попытки. Правда, что мы не понимаем их, но вольно ж нам не знать по-санскритски. Прогуляемся ж в Индию, господа, хоть для того, чтобы узнать, стоит ли там петь гимны!

Пароход «Джон Буль»¹⁹ уж давно курится у набережной... Слышите ль, звонят в третий раз!.. Едем.

И вот мы плывем не только вверх по течению Гангеса, но и вверх по течению веков. Покуда не бросили еще сходня на берег, я скажу вам, что, по-моему, первобытная поэзия народов непременно зависит от климата. Так у кафра, палимого зноем, и у чукчи, дрожащего от мороза, у обоих, которым голодная смерть грозит ежедневно, первая поэзия, как первая религия, есть заклинание. Он через колдуна, через шамана старается умиловить злых духов или сковать их клятвами. Напротив, у скандинава, у кавказского горца, у араба, людей столько же гордых, как бедных, столько же свободных, как бесстрашных, у коих все зависит от самого себя, которые ничего в мире не знают выше собственных сил и отваги, поэзия есть песня самохваления. Прочтите вы саги, Оссиана, моаллаки;²⁰ послушайте песен аварца или черкеса: это вечная вариация местоимений я или мы; а «мы» значило у них «мой род», «моя деревня», «моя дружина». Грек уже горд народною славою: у него отечество не одно свое селение; силы его в равновесии с силами природы; небо у него самое благодатное, и он, вдохновенный им, поет гимн — песню благодарности богам, песню торжества собственного. Но Египет, сожженный, закопченный солнцем Египет, который произведен и живет только милостыней Нила, или эта Индия — оба края, столь богатые драгоценностями и заразами всех родов, где жизнь качается на острие гибели... Скажите, мог ли там человек, запуганный природою, начать поэзию песнею благодарности или торжества? Конечно, нет. Скорей всего она была молитва, ибо индеец боготворит все и всего хочет, ибо все манит его, и хочет с жадностью, ибо завтра для него не существует. В Индии природа — мать и мачеха вместе для младенца человека. Молоко великанских ее сосцов смешано с отравою; ее мед опьяняет, как вино romodendron; благоухание цветов ее убивает мгновенно, как manzenilla;²¹ она душит человека то избытком сил, то избытком даров своих. Он чувствует перед ней свое бессилие, свою ничтожность и ползает перед судьбою, видя суетность расчетов и залогов на будущее; он приносит жертвы Ариману, злему началу, наравне с жизнедавцем Сивою; он молится вещественным силам природы, нередко изуродованным через нелепый символизм отвлеченных качеств ее. Вот почему в многобожной Индии все носит на себе отпечаток религиозный, все, от

песен до политического быта, ибо поэзия и вера, вера и власть там одно. Свидетели: «Магабхарата» и «Рамаяна», две огромные поэмы индийцев. Что такое они, как не последняя битва падшей веры и государства Магаде с победительною верою и властью Будды? Это страшные грезы страшной действительности: это смешение самых чистых, первозданных чувств с самыми неестественными вымыслами; это благоуханная вязь цветов, перевитая жемчугом и алмазами, плавающая в потоке крови. Там убедитесь вы, что индеец может только роскошно мечтать, а не мыслить. Его герои — звери или волшебники; его боги — чудовища, его вера — угроза. Со всем тем, как ни грубы его верования, как ни бездвижны его касты, как ни причудливы его воображения, вы легко заметите в них попытку души вырваться из тесных цепей тела, из-под гнета сущности, из плена природы и нагуляться в новом, самозданном мире, отведать иной жизни, пожить с фантастическими существами. Это романтизм по инстинкту, не по выбору.

Но для чего нам распространяться о восточной словесности? Она неизвестна была древним, она чуть-чуть известна нам и потому не имела никакого влияния ни на классическую, ни на романтическую словесность. Заметим только, что фатализм, злобный, неумолимый фатализм Индии, смягчается у персов, поклонников огня, до мысли о благом промысле. Он молится уже не идолу, но недостигаемому солнцу, живителю мира; бездействует, но уже более из лени, чем из безнадежности. Увидим, как яростен и силен этот фатализм, ринутый из своего покоя огнем Мугаммеда, когда он дал обет арабам своим: мечом и кураном завоевать свет и рай. Между тем как поэтическая религия ислама, подобно лаве, растекается по Востоку и зажигает его, сладкозвучный Фердуси плавит в радугу предания Персии и связывает ею истину с вымыслами. Говорю о «Шах-наме» (повесть царей), для которой ханжа-персиянин до сих пор забывает свои четки, низкий корыстолюбец-персиянин останавливает на воздухе руку, не досчитав своих туменов, для которой сластолюбивый лентяй-персиянин открывает отяжелевшие от опиума веки, покидает незапертым гарем и спешит послушать «Шах-наме» от площадного певца. Он слушает, и улыбается, и гордо гладит бороду. Мил гуляка Гафиз, трогателен мудрец Саади, но Фердуси — о, это водопад Державина! Сколько

раз уносился я одной музыкой стихов его в то время, когда какой-нибудь мулла морозил мысль бессмысленным переводом!

И вот мы в Греции, в Греции, стороне богов, подобных людям, в стране богоподобных мужей! Я уверен, что этот salto mortale * не удивит вас: разве не учились вы прыгать в манеже? Что касается до меня, вы сами видите, что я вольтижирую на коньке своем не хуже Франкони-сына²².

Вторая, несомненная степень поэзии есть эпопея, то есть народные предания о старине, одетые в шумиху басни. Да, история всех племен всегда начинается баснею, точно так же, как история всех народов должна заключаться нагою летописью, если верить, что род человека совершенствуется. При истоке вы везде находите поэму в истории, равно как историю в сагах. Новички народы, точь-в-точь дворяне из разночинцев, всегда хотят облагородить своих предков, закрыть пестрыми гербами прежнюю вывеску, заставить расти свой родословный пенъ-гнилушку из облаков. Родоначальники их вечно или герои, или боги. Афинец ведет род свой от Феба; камчадал считает своим праотцем кита — это живительное солнце бытия его. Кроме того, первобытные народы младенчески верят всему, что льстит их самолюбию. Любо им, чтобы их боги ссорились меж собою за их запечные ссоры, чтобы они якшались с ними запанибрата; без чуда нельзя было поколотить их ни в одной схватке, нельзя было ступить шагу без содействия чародеев, ибо вера в чудесное превращала для них сверхъестественное в естественное, творила невозможное обыкновенным.

Туманы и вдали увеличивают предметы, дают им затейливые образы. То же самое и с историческими истинами сквозь пыльный туман древности, между тем как нравы и климаты дают обликам сих преданий разные характеры.

Грецию избрало, кажется, провидение проявить мысль, до какой высоты изящества доступен был древний мир, средою коего она была. Как ранний морской цветок, она возникла из океана невежества, быстро созрела семенами всего прекрасного, в науках, в художествах, в нравственности, в политике, в поэзии всего этого... бросила свое благоухание и семена ветрам — и увяла, увяла прежде, чем кровавые волны поглотили ее. Светлое небо Эллады отражалось не только в водах Эгейского моря, но и в душах,

* головокружительный прыжок (итал.). — Ред.

в нравах, гармоническом языке греков. Восточная поэзия — чувственность и греза, греческая — вся чувство верное, пылкое чувство, которое рвалось из груди на простор, точно так же как сам грек всю жизнь проводил на воздухе, на раздолье. Выходец из Азии, он принес в своей котомке лишь самые легкие поверья и сказки детства; он бросил на месте прежних сторуких крокодилоглавых, птицеглавых, треглавых идолов; он забыл(ся?) дорогою Аримана²³, он научился в скитаньях своих своевольничать; он окреп, он стал деятелен, он стал забияка, он стал крикун, он стал настоящим греком. И, право, если б между разгульными богами Олимпа не замешалась грозная 'Anágkē Судьба, от которой сами боги трепетали, как осиновый лист, вы бы не узнали в гинеее²⁴ — гарема, в Пирее — базара, в Алкивиаде — потомка какого-нибудь из героев «Магабхараты». Главное в том, что душа грека изливалась вся наружу: он жаждал битв и песен, он пел природу и битвы, и выражение их у грека было в совершенном соответствии с предметом; выражение его отличалось особенною гармоническою точностию и, так сказать, отражаемостию, зеркальностию. Вот отчего вся поэзия греческая, в стихах ли, в мраморе ли, в меди ли она проявлялась, ознаменована недоступною для нас и пленительною для всех красотою. Никто лучше не выражал чувственной природы, ибо нигде нет природы лучше греческой. Но не один голый перевод с природы, не слепое, безжизненное подражание жизни находим мы в поэзии греков. В произведениях искусств мы находим идеал вещественно-прекрасного, то есть тысячи рассеянных красот, гениально слитых воедино, красот, может, никогда не виданных, но угаданных душою. В драмах, в одах сверкают уже мысли, заметно уже стремление к высокой, но неясной цели. Впоследствии философы высказали то, о чем намекали поэты. Романтизм оперялся понемногу; однако столько веков протекло между Омиром и Платоном.

О м и р?!.

Когда вы произносите это священное, освященное веками имя, кажется, вся Эллада восстанет из праха огромным призраком!.. Кажется, видишь гиганта Атласа, который выносит на плечах своих весь древний мир из ночи забвения. Скажите, чего нет в «Илиаде» и «Одиссее»? Феогония, родословие всей Греции, землеописание полумира,

история, анатомия, все, что знал в те поры гуртом род человеческий, все там, и это все — самая ничтожная, незаметная частица в сравнении с величием поэзии, с роскошью образов! Никто не знал, где началась колыбель этого гения; никто не знает, где его могила. Он явился в мир, исчез из мира и до того изумил всех, что начали не без причины сомневаться в его существовании, по крайней мере, в целостности поэм, ему приписанных, трудов, едва ль доступных одному человеку.

Пускай, впрочем, будет Омир загадкой, заданною нам древностию; пускай имя его есть собирательное имя всех поэтов, до него живших; пускай «Илиада» есть перечень тысячи рапсодий, сшитых искусною рукою. Дело в том, что под его именем известные эпопеи стали типом, образцом тысячи других эпопей, начиная с «Энеиды» до какой-то русской *иды*, или *ады*, или *оиды*, в которой затеряны следующие стихи:

Меж тем как Феодор звонил в колокола.
(Его любимая охота в том была) ²⁵.

Я думаю, каждый народ имел свои эпопеи, в каком бы лице они ни проявлялись: но имел в возраст юношества — не иначе. Юность все чувствует и всему верит; юность простодушна, как ребенок, и смела, как муж. Вот почему так неудачны были все попытки во времена разума создать или повторить народную эпопею. Большого промаха дал Торквато, замешав языческих богов в свою великолепную поэму, поэму христианскую в полной мере; ²⁶ но еще забавнее Вольтер, заставивший действовать отвлеченные понятия в лицах, в своей надутой «Ганриаде», этой выношенной до нитки аллегории, которой рукоплескал XVIII век до мозолей, зевая под шляпою, и над которою мы даже не зеваем, оттого что спим ²⁷

Видя, что народ не верит уже сказкам, эпопея перекидывается в драму. Она отрубает от истории какое-нибудь частное происшествие и переливает его в свою огромную форму; выхватывает из толпы царей несколько имен, отмеченных природою или молвою, и путает их в невидимые цепи судьбы, бросает им молнию роковых страстей в грудь, растит эти страсти до великанских размеров, заставляет совершать страшные злодеяния, и потом, неумолимый судья, она бичует преступника змеями фурий, рассекает его огненным мечом своим пополам и показывает его сердце наголо зрителям, безмолвным от ужаса, — серд-

це, на котором вы видите еще зубы совести, которое плачет кровью, которое трепещется от мучений. Такова была трагедия древних, трагедия Эсхила, Софокла и Эврипида. Оттого ли, что она для большей свободы избирала героев, уже удаленных во мрак старины, или покорна была влиянию наружности, только всегда она выводит на сцену царствования злосчастия, как будто человек не имел в себе довольно величий. Не так понимали природу Шекспир, Шиллер, Виктор Гюго,—и менее ль занимателен их падший ангел-человек, их человек-мещанин, родня богов Атридов? ²⁸

Напротив, комедия принадлежала собственно народу, ибо она изображала народ в домашнем быту, нараспашку, народ вольный однако ж, народ царя наизнанку, народ, который, зашивая дыры на тунике, толковал, как разбить Ксеркса или Югурту. ²⁹ Оттого комедия у греков и римлян имела всегда политическую цель: она колола, смешала, она была прихожею Пирея ³⁰ или Форума, битвой застрельщиков, в которой партии пытали или добивали друг друга. Мы видели и увидим, что новая трагедия, или, лучше сказать, новая драма, которая, как жизнь наша, смеется и плачет на одном часу, вырывает своим деревянным кинжалом из могил еще не остывшие трупы героев, не дожидаясь, чтоб давность увлекла их на исторический выстрел: она судит их у гроба, подобно египтянам, или, что и того злее, терзает их заживо, будто бы она, как орел, не может есть ничего, кроме животрепещего мяса. Да, рано застаёт нас потомство, жестокое, неумолимое потомство! Застаёт врасплох, подслушивает или угадывает нашу исповедь — и не даёт разрешения; бросает горсть земли в очи покойника — и не молвит обычного *мир с тобою!* Нет... оно шевелит, оно вытаскивает, как шакал, на свет кости, бросает на ветер пепел, клеймит самую гробницу насмешкой или презрением или с проклятием ломает ее вдребезги!

Наконец, за драмою возникает роман и потом идет об руку с драмою,— роман, который есть не что иное, как поэма и драма, лиризм, и философия, и вся поэзия в тысяче граней своих, весь свой век на обе корки. Древние не знали романа, ибо роман есть разложение души, история сердца, а им некогда было заниматься подобным анализом; они так были заняты физическою и политическою деятельностью, что нравственные отвлеченности мало имели у них места; кроме того, где, скажите, они являлись

развитые не диссертациями, а приключениями? Жизнь была сама по себе, а ученость сама по себе... Я, по крайней мере, не знаю ни одного романа, завещанного нам древностью, ни одного, кроме ее историй. Роман, каковы «Гаргантюа» и «Дон-Кихот», — дети нового порядка вещей, наследники средних веков. О нас, миллионщиках в этом отношении, речь впереди.

Между тем важный перелом мира вещественного от мира духовного тихо готовился в Элладе и в Риме, уже источенных пороками... Мраморные боги шатались, но стояли еще; зато их треножники были холодны без жертв, сердца язычников холодны без веры. Давно уже Сократ толковал об единстве бога — и выпил цикуту, осужденный за безбожие. Но эта чаша смерти стала заздравной чашей нового учения, которое проникло даже в сердце пританов — убийц Сократа³¹. Школа неоплатоников разрасталась, развивалась далее и далее, — она была для земли, раздавленной деспотизмом, прелюдией небесною! Души, томимые пустотою, чего-то ждали, чего-то жаждали, — и свершилось...

Древний мир пал.

Но он пал, сражаясь, пал после долгой битвы, и стрелы его глубоко остались в теле нового ратоборца. Долго-долго потом в поэзии, в художествах, в обычаях отзывались поверья язычества, равно готического и эллинского. У бессмертного Данте Виргилий, *come persona assorta**, провожает поэта по всем закоулкам христианского ада. В католических соборах кариатиды-сатиры, кряхтя, поддерживают хоры или корчатся от святой воды в крашениях кропильницы. Языческие обряды остались доселе не только в играх народных, но слились иные с обрядами веры. Зачем ходить далеко: вспомним постриги и поминки, вспомним игрища Ярилы³² и колядования о святках, семик³³ и проч., и проч., и проч. Я уж не говорю, или я еще не говорю, о нашествии на Русь грецкого вкуса, который заставил нашего Ивана Горюна заиграть на свирелке Дафниса и Меналка³⁴, наслал в наши песенники купидонов и нимф и расплодил по всем городам пародии римских и греческих зданий. Приторный вкус, несообразный ни с характером, ни с климатом нашим!

* как лицо благоразумное (итал.). — Ред.

Но забудем ли, что Греция, умирая, оказала важную услугу новому миру: сладкозвучный, величественный язык Омира раздался в этот раз голосом с небес — то было Евангелие; обет новой, прекрасной жизни, высказанный наречием старины; то была песня лебедя — то был завет старца на одре кончины.

Сперва гонимая, терзаемая скитальница, христианская вера восторжествовала наконец благочестием первых христиан; и не мечом войны, не топором казни покорила она души полумира, нет, но убеждением слова, но истинною правил Евангелия. Из подземных пещер она овладела землею и соединила землю с небом. Боги языческие были порочны, как люди, апостолы чисты, как ангелы. Язычник унижил божество до себя, христианин вознес человека до бога. Философия была верою немногих мудрецов, а христианская вера стала философиею целых народов, практическою мудростью, не только законом, но и наставницею совести. Вникните в сущность Евангелия, прочтите его даже просто как книгу — и вы убедитесь, что оно есть высокая романтическая поэма, тем драгоценнейшая, что каждая страница его — действительность, что каждое слово его священо примером и запечатлено кровью спасителя мира. Да, я смело утверждаю, что Евангелие было первообразом новой словесности, первым рассадником идеализма. Оно заключало в себе все, что сказалось и свершилось потом и доселе. Каких стихий новой поэзии нет в благовестии, в этом завете неба земле, в завете бога с человеком? Не стройно ли сохранено в нем одно единственно возможное природе — единство цели? Не проникнуто ль оно насквозь одною смелою, пылкою, священной мыслию побратать все народы любовью, обратить любовь в веру, возвысить и усовершенить людей верою в бога, который сам себя назвал любовь, который завещал платить добром за зло, любить врагов своих, не осуждать проступившегося; который произнес: «Мечь мне!», и потом дивность, таинственность судеб Иисусовых, слитых с дивными пророчествами Иудей;³⁵ и потом многозначность и непроницаемость речей евангелистов, когда они бренными устами поведают вдохновение божества; и все, даже до форм одного, объемлющих вместе историю и драму; до слова, в котором рассказ перемешан с разговором; до языка, поражающего восточною яркостью оборотов и подобий, краткостью и силой выражений — все там ново, все там юно. Нов совершенно и театр, избранный для действия. Не

только на площадях, не в одних палатах и храмах является спаситель, но в пустыне, на торжище, в толпах простого народа, в кругу детей и прокаженных, на свадьбе, на погребении, на месте казни. Он беседует с мытарями, он спасает блудницу; он с двенадцатью рыбаками бросает живые семена слова в души простолюдинов. И с какою драматическою занимательностью близится кровавая развязка этой умирительной, ужасной трагедии! Друг продаст его врагам за серебро, предаст на муки поцелуем. Любимый ученик отрицает его... Робкий судия шепчет: «Он невинен»,— и дарит его злобной черни, в которой большинство — сановники-иудеи. И вот спаситель мира гибнет позорною казнию, распятый между двумя разбойниками, молясь за своих злодеев! О, кто ни разу не плакал горькими слезами над Евангелием, тот, конечно, не испытал сам несчастия и не уважал его в других, тот не стоит и отрады, проливаемой в души этою святынею. Какой несчастливец не подымал из праха головы, подумав: «И он страдал». Как утешительно, трогательно следить борение божественного духа с земными скорбями, на которые осужден был Христос телом. «Лазарь, брат наш, умер!» — восклицает он и горько плачет. Кровавый пот орошает чело его, когда он молится. «Да мимо идет чаша сия — отравленная чаша судьбы!» Он падает, изнемогая под крестом, он жаждет, пригвожденный на кресте,— и ему на острие копья подадут укус... Это страшно и отрадно вместе. Страшно потому, что в этом символе мы видим свет, каков он был всегда, действительную жизнь, какова она доныне. Тут нет ни награды добродетели, ни казни пороку; напротив, тут самые высокие чувства попораны пятами, святая истина закована в железо; чистейшая добродетель ведет на Голгофу. Но утешьтесь, тени страдальцев мира,— разве не для вас слова: «Блаженны изгнанные правды ради...» Камозэнс, Торквато, Дант, Альфиери, Шенье, Байрон и вы, все избранники небес! мир налагал на вас терновый венец, облекал в багряницу и посмеянием плевал в лицо; бил палками — и называл царями! Но разве не настало время, когда потомство принесло мирру к гробнице вашей и нашло ее пустою, и некто светозарный указал на небо...

Там награда наша!

Не извиняюсь, распространившись так о Евангелии, пред теми, у которых привычка очерстила сердце к красотам его; ни пред теми, которые его исповедуют языком

фарисеев и целуют устами Иуды,— мне необходимо нужно было указать на стихи, которые разовьются потом в нравах, обличаясь в переворотах, проявятся в отшельничестве, в крестовых походах, в войне реформы, в «Освобожденном Иерусалиме», в «Аде», в «Вертере», в «Чайльде-Гарольде», в «Notre Dame de Paris» *. Я сказал и повторяю, что Евангелие стало знамением новой словесности, как святой крест стал знамением нового мира; что оно было первою песнею, действием той огромной поэмы или драмы, которой история не досказала до сих пор.

Для нас, однако ж, необходим фонарь истории, чтобы во мраке средних веков разглядеть между развалин тропинки, по которым романтизм вторгся в Европу с разных сторон и наконец укоренился в ней, овладел ею. Странное дело: Востоку суждено было искони высылать в другие концы мира, с индиго ³⁶, с кошенилью ³⁷ и пряностями, свои поверья и верования, свои символы и сказки; но Северу предлежало очистить их от грубой коры, переплавить, одухотворить, идеализировать. Восток провещал их в каком-то магнетическом сне, бессвязано, безотчетно; Север возрастил их в теплице анализа,— ибо Восток есть воображение, а Север — разум. Я не приглашаю с собой ни старичков наших в плисовых сапогах от подагры, ни молодежи с одышкою от танцев. Пойдут со мной одни охотники побродить,— но, ради бога, ни костылей, ни помочей!

Предпоследний римлянин умер с Катоном, последний — с Тацитом. Преторианские когорты продавали уже скипетр Августа с молотка, и бездарные тираны, один за другим, а иногда вместе по двое, входили на престол, чтобы удивить с высоты этой тарпейской скалы ³⁸ целый свет своим развратом и насилием. Но Рим стоял таких цезарей, когда мог ползать пред ними, лизать их стопы... Со всем тем имя *Рим* все еще пугало этих царей старинным духом мятежей. Оно упрекало их прежнюю славою, прежними доблестями, настоящим позором обеих, и Константин перенес столицу в Византию. Рим переехал в Грецию, но переехал только в титуле императора; он не привез на берега Босфора ни пепла, ни духа предков. Римскому орлу приклеили еще голову, позабыв, что варвары подрезали ему крылья. Коварство заменило силу, семейные сплетни и расколы заняли изнеженный двор Византии, между тем

* «Соборе Парижской богоматери» (франц.). — Ред.

как европейские, и азиатские, и африканские дикари напирали на границу империи, вторгались в ее сердце, пускали на жертву меч, раскатывали головней города. Какой словесности можно было ожидать при таком дворе, в таком выродившемся народе? Надутая лесть для знатного класса, шепетильная схоластика и богословские сплетни в школах — вот что, подобно репейнику, цвело там, где красовались прежде Тиртей, Сафо, Демосфен. Правда, Иоанн Златоуст, святой Августин, Григорий Назианзин, Синезий — в Риме, в Кириее, в Афинах, в Птолемаиде — развивали во всем блеске и чистоте учение духовной жизни, воплощали христианский мистицизм или, лучше сказать, романтизм в нравы, но сила их пленительного, убедительного красноречия прошла с ними вместе; века и волны варваров протекли между их кликом и отголоском. Рим пал жертвой мести за насилие; Греция пала жертвой зависти и бессилия. Вся деятельность жизни сосредоточилась на Западе: там лишь, за развалины власти римской, бились кочевые народы, потоками крови смывали друг друга с лица земли или отбрасывали, загоняли куда глаза глядят; но в хаотическом мраке и буре средних веков готовился новый порядок гражданственности и нравственности. Народы-завоеватели стали станом посреди побежденных, разделили их вместе с землей промеж себя, как добычу, сохранив и в мире на случай похода военное чиновначалие. Вся Европа обросла тогда замками феодальных баронов, между которыми раскрошилась власть прежних царей. Многие из готических и славянских народов управлялись сходками (meeting, Wehrmaney, сейм), большая часть — князьями (König, prince, suzerain, Herzog, earle, comte), избранными в вожди, в начальники то на время похода, то на время мира, иногда для того и другого вместе. До поры оседлости, можно сказать, одна война была религией западных варваров, и потому христианская вера быстро разлилась между ними, равнодушными к старому, жадными к блестящим новостям. Лонгобард³⁹, нарядившись в римскую тогу, захотел и молиться в римской базилике. Для победителей вера сия была роскошь, отличие, для побежденных — улада. Первым она давала частые предлоги к завоеваниям, вторым — надежду на свободу, на облегчение по духу евангельского братства. Посреди этого брожения, волнования, сокрушения народов возникло неведомое варварам сословие духовенства, сословие, независимое от дворян десятиною с народа, защищен-

ное от народа святостию своего сана. Непрестанно и беспредельно возрастающая власть его, власть, которой представителем был папа, доказала свету силу слова над совестью, победу духа над грубою силою. Пользуясь суевериями невежества, католическое духовенство (уже давно отделенное от восточной церкви) не без битв, но без славы захватило царство всего мира, проповедуя «царство не от мира сего». Крест стал рукоятью меча; тиара задавила короны, и монастыри — эти надземные гробы — устремили к нему колокольни свои, сложенные из разрушенных замков. Со всем тем эпоха была самая драматическая, поэтическая: жизнь не текла, а кипела в этот век набожности и любви, век рыцарства и разбоев. Охотничьи рога гремели в лесу без устали. Вдали роптало аббатство вечернюю звоню колоколов. Турниры санивали воедино красоту и отвагу. Странствующие рыцари ломали копья на всех перекрестках. Барон на барона ходил войной вопреки своему сюзерену. Зато странник смело стучался в калитку феодального владельца, садился за нижний конец его стола и платил за гостеприимство рассказом. Бродячий певец был необходимое лицо и на похоронах. Он выпивал чару (эта прелюдия сохранилась очень набожно между певцами) и пел, брэнча на арфе; пел романсы про битвы и подвиги предков, про дивные приключения паладинов, про чародеев-завистников, про похищенных красавиц, про искушения святых угодников, которые выручали несчастных из когтей беса или из-под колес судьбы. Но больше всего они пели про славу и любовь, ибо все тогда любили славу и славили любовь. Христианство вывело женщин из-за решеток и покрывал и поставило их наравне с мужчинами. Рыцарство возвысило их над собою и природою, сделало из них идолов, обожало их, чуть не обожествило их. Обеты, испытания и постоянства, едва вероятные нам, были тогда обыкновеннее хлеба насущного. Этот духовный союз душ, это неизменное стремление к предмету своей страсти, это чудное свойство — во всей природе чувствовать одно, видеть одно — не есть ли практический романтизм, романтизм на деле? Прибавьте ко всему этому установление военно-духовных орденов, проливших мрачный мистицизм на поэзию, и ужас, наведенный тайным судилищем на всех. *Vehmgericht* * был какой-то кошмар, тяготевший над средними веками, какое-то подземельное привидение, пора-

* Уголовный суд (нем.). — Ред.

жавшее, как разбойник, из-за угла. А проклятия церкви? А инквизиция?.. Вот отчего песни труверов, миннезингеров, менестрелей так часто переходят от звона мечей ко вздохам, от клятвы к молитве, от грусти разлуки к бешенству гулянки, и песня их нередко замирает недоконченная, будто они оглядываются со страхом, не подслушивает ли их какой домовый или рассыльный.

Но всего более на готическую литературу произвело впечатление вторжение норманнов (наших варягов) во Францию, мавров в Испанию и крестовые походы.

Шайки голодных, полунагих, но бесстрашных, бешеных славою скандинавов кидались в лодки, выбирали себе морского царя (*See Konung*) и под его началом переплывали моря неизвестные, входили в первую встречную реку, волокли на себе ладьи по земле, если нужно было спустить их в другую реку, и по ней вторгались внутрь сильных, обильных государств, гибли или покоряли области, сражались, не спрашивая числа, грабили, истребляли, не щадя ни пола, ни святыни; но, взяв оседлость, укрощались верою, хотя страсть к завоеваниям и водному кочевью долго бросала их потомков на другие народы.

Вспомним завоевание нашей родины и Нормандии сперва, завоевание Англии потом и частые набеги их в Испанию, в Сицилию, в Ирландию — всюду, где была добыча на приманку и вода для сплава. Скоро забыли скандинавы своего *Одина, своих Валкирий, свою валгаллу (рай), обещанную храбрым, но дух саг их, но мысленность Севера, соединясь с остроумием и живостию французов, внедрялись в характер норманнский и, переплыв за Ламанку с Вильгельмом Завоевателем, перегорев в пламени битв и мятежей, возникли, величественны и самобытны, в литературе английской, которая по праву и по достоинству стала образцовою. Из этой-то амальгамы беспечного, ветреного, легкомысленного, всегда поющего француза с жителем угрюмого Севера, который, будучи осажден зимою в своей хижине, поневоле был загнан в самого себя и углублялся в душу, произошел неподражаемый юмор, отличающий век наш. Стойки величались тем, что презирали страданье и смерть, — юмор делает лучше без всякой хвастливости: он смеется в промежутках страданий и шутит над смертию, играет с петлей, нередко рискует самою душою для острого слова. Мы воротимся к нему, когда станем говорить о стихиях романтической словесности.

Нужда выжила скандинавов из отчизны, а безумие отваги, жадность к славе влекли их к опасностям и завоеваниям. Мавры были двинуты вдохновением Мугаммеда. С кликом: «Бисмалла! Бисмалла (во имя божие)!» — ворвались они в Испанию и принесли с собой Восток, во всей изящности поэзии, архитектуры и наездничества; но, по несчастию, просвещение халифов было не звезда, а ракета: оно изумило, пленило всех — и погасло в неразгони-мой туче испанского невежества. Но если с падением Боабдила⁴⁰ университеты Пиренейского полуострова век от века погрязали глубже в болото вздорной схоластики, зато роскошь выражений, зато новостя стили чудно привились к европейскому романтизму, и утонченное рыцарство, вместе с сегидиллами и романсерами⁴¹, вместе с витыми столбами, с кружевнопрорезными башенками, со стрельчатыми окнами, разлилось по всему лицу Европы.

Трудно постичь, как могли мавры-мусульмане возвыситься до такой степени чистоты в понятиях уважения к женщинам и рыцарской чести, в чем они стали указкою для европейцев! Впрочем, они, запирая жен своих под замок, тем не менее охочи были поволочиться за христианками, хотя бы то была чужая жена или невеста, и так же охотно давали серенады под окном своей Дильфериб (обольстительница сердец), как ломали копыя на груди соперников по славе или по любви. Бросая символический букет на грудь своей любезной, мавр изъяснялся и в речи цветами, подобиями, гиперболами. Он ввел в моду узорочья, блески, благовония, насечку, и скоро их калейдоскопическая пестрота отразилась на всей поэзии Юга и Запада, а крестовые походы сделали ее еще более общею. То была радуга Индустана, блеснувшая в облаках Европы.

Крестовые походы были умирительное, величественное событие. На зов бедного пустынного короли покинули свои короны, дворяне за оружие заложили или продали поместья, богачи роздали имения бедным или монастырям, и целые поколения, не зная дороги, не заготовив хлеба, ринулись куда-то, восторженные духом набожности и негодования, отбивать у неверных гроб господень. Стар и мал теснились в первый ряд на битву, восклицая: «Так хочет бог!» И трижды обрушивалась так Европа на Азию, подобно ледяной лавине, для того чтобы растаять под жгучим солнцем Палестины. Храбрые крестоносцы погибли все, потеряли все, и то, что завоевали, и то, что оставили дома. Но дело судеб божиих минуло даром. Огромна была по-

двиг, следствия неисчислимы. Крестовые походы дали средства усилиться королям во время отсутствия непослушных баронов, сплавить воедино мелкие народцы, округлить, устроить понемножку свои королевства. Единовластие и соединение (последствия его) бывали всегда благодетельны во времена междоусобий. Крестовые походы пресытили духовенство окладами, возгордили его властью, проистекающею из религиозного направления умов, — и все это на пагубу себе. Разврат, лукавство, кичение, злоупотребление исповеди и разрешений, самое богатство духовенства пробудили в сердцах многих народов глухое чувство нетерпения к деспотизму совести, чувство зависти к церковным поместьям, выращенным потом их... То было предтечею лютеранства, которое впоследствии раскололо на полы всю Европу после тяжких войн и кровавых явлений. Кроме того, не одни мощи и раковинки принес инвалид-крестоносец на родину с берегов Иордана, о нет: из тяжких походов своих он принес семена веротерпимости. Науки раздвинулись опытным познанием света. Словесность разбогатела восточными сказками, столь причудливыми, столь замысловатыми! В них-то впервые простолюдины стали играть роли наравне с визирями и ханами, и дворяне в первый раз сознались вниманием своим, что и народ может быть очень занимателен — народ, который у себя водили они в ошейниках, будто гончих, и ценили часто ниже гончих. Но и европейские простолюдины (им далеко еще было до имени народа), не имевшие никаких прав, имели свои обычаи, свои забавы, свою поэзию. Составляя часть глыбы земли по закону, по природе они составляли часть человечества, и хоть ползком, но подвигались вперед; жили как вещь, но, как живая вещь, любили, ненавидели. Мало дошло до нас старинных песен черни европейской в первобытном виде (за исключением Британии и нашей Руси, где народ составлял массу), но мы можем угадать простонародное происхождение многих баллад в вычурных стихах певцов, которые занимали основу, нередко и самые выражения, у изустных преданий черни. Сказки зато, эта картина, это *facsimilé* ума старины, быта старины, живые еще доселе в устах простонародья, лежат бездонным рудником для родной поэзии. Божественная поэзия! Ангел-утешитель старины! Ты являлась везде, где только нужно было отереть слезу или дать сладость улыбке. Ты одушевляла на добро и славу князей гуслими певцов; ты заставляла прыгать бедняг под липою гудком бродячего

слепца; ты ублаживала чудесною сказкою раба на пепле хижины, сожженной в двадцатый раз междоусобием. Ты смешила голодных солдат своими прибаутками; ты бросала символы свои во все обряды важных случаев жизни; засыпала радужным песком крючковатое маранье (*grimoire*) приговоров. Ты населяла даже запечье и подполье резвыми жильцами, давала голос бутылке шинкаря, песню — оковам узника, блеск — топору казни. Ты была везде, украшала все; ты вила струны свои то из цепочки паникадила, то из тетивы, то из удавки. Простой народ почти всегда сохранял эту поэзию, но мы к ней только что возвращаемся; и слава богу! Лучше потолкаться у гор на масленице, чем зевать в обществе греческих богов или с портретами своих напудренных предков.

Между тем как дробные и большие владельцы тормозили друг друга, между тем как святые войны укликали их за тридевять земель, возникала и крепла в Европе совершенно неизвестная в древности стихия гражданственности — стихия, которая впоследствии поглотила все прочее, — я говорю о мещанстве, *bourgeoisie*. Купцы и ремесленники, обыкновенные жильцы городков, желая собственного суда и расправы, покупали право на оные у своего владельца деньгами или услугами, а иногда, чувствуя себя в силе, возмущались просто, прибегали под защиту какого-нибудь соседнего владельца или епископа и дрались насмерть с теми, которые хотели по праву или по прихоти покорить их вновь; лукавили, ползали в бессилии и мятежничали опять до тех пор, пока сила какого-нибудь короля не уничтожала их дотла или сила обстоятельств не отстаивала до поздних времен. Случалось, что одна только часть города получала или брала право общины, отделялась стеной и нередко вела войну с соседями. Случалось, что сами короли производили деревни в слободы и города в общины для населения их после язвы или разорения от врагов. Как бы то ни было, но эти коммюни (*communes*) не походили ни на Рим, ни на Спарту, где город был государство, ни на Лондон и Париж, где город — столица государства, ни даже на Тир, на Карфаген, на наш Новгород, которые владели областями, имели отдельный политический быт; это были просто города, иногда с неограниченным самоуправством внутри и часто без выгона за стеною. Но в стенах всех городов вообще, и вольных в особенности, кипело бодрое, смышленное народонаселение, которое породило так называемое среднее сословие. Не имея

пяди земли, оно завладело силами и произведениями природы, наняло труды человека, отдало внаем свои способности. Оно дало купцов, ремесленников, художников, ученых, надело рясу священника, парик адвоката и судьи, нахлобучило шапку профессора, переделось в пеструю куртку странствующего комедианта; но всего важнее: оно дало жизнь писателям всех родов, поэтам всех величин, авторам по нужде и по наряду, по ошибке и по вдохновению. В них замечательно для нас то, что, родясь в эпоху мятежей и распрей, в сословии мещан, в сословии, понимающем себе цену и между тем униженным, презиравшем аристократию, которая в те блаженные времена считала все дозволенным себе в отношении к нижним слоям общества,— авторы воспитали в своей касте и сохранили в своих сочинениях какую-то насмешливую досаду на вельмож и на дворян. Они сторицею отплатили им равно за насмешки и подачки, гораздо обиднейшие насмешек. Не могли ступить за китайскую стену благородства, которую сторожили могилы по крайней мере двенадцати поколений (*quartieri*), авторы бросали чрез нее стрелы сатиры, комедии или эпиграммы, толковали сельской и городской черни об обязанностях господ, а между тем дух времени работал событиями лучше, нежели все они вместе. Изобретение пороха и книгопечатания добило старинное дворянство. Первое ядро, прожужжавшее в рядах рыцарей, сказало им: «Опасность равна для вас и для вассалов ваших». Первый печатный лист был уже прокламация победы просвещенных разночинцев над невеждами-дворянчиками. Латы распались в прах. Ковы и семейные тайны знатных стали достоянием каждого. Дух зашевелился везде: он рвался на простор, оттого что телу пришлось чересчур тесно. Открыли Новый Свет; новый вулкан потряс Европу, утомленную папизмом. Войны протестантов на поле и на кафедре проявили духовность христианской религии во всей ее чистоте, а переводами на народные языки книг священного писания она впервые стала знакома народу. С этих пор пророческий мистицизм, восточная роскошь описаний, иносказания и торжественность языка завладели всею поэзией: мир Библии ожил под кистью Рафаэля, под пером Мильтона, отразился во всем и везде. Можно сказать: с той поры не преставала явная борьба двух начал политических, принявших на себя сперва краску религиозного фанатизма, а потом литературной

исключительности. Реформаты отвергли католичество, оттого что оно впало в вещьественность и вмешалось не в свои дела, захватив чужое добро. Мы сбрасываем с себя классицизм, как истлевшую одежду мертвеца, в которую хотели нарядить нас. И ничего нет справедливее: дуб — прекрасное дерево, слова нет; но дубовый пенёк — плохая защита от солнца. Зачем же вы привязываете детей к гнилушке, когда они могут найти прохладу под кудрявою березкою? Для живых надо живое.

Со всем тем эпоха возрождения наук и художеств не понимала таких полновесных истин и, восхищенная находкою знаменитых произведений древности, уверила себя, что они безусловный образец изящного и что, кроме их, нет изящного. Затем она принялась подражать до упаду грекам, а пуще того римлянам, которые сами передразнивали греков. Притом латинский язык был наречием веры и чрез духовных, служивших за секретарей, стал наречием прагматики; он же был и ходячею монетою всех училищ. Ученый не смел говорить иначе, как по-латыни, а писать и подавно, хоть от его вандало-римского языка Цицерон и в могиле зарылся бы вглубь сажени на три. Так было везде для ученого класса, или, яснее сказать, для педантов; но даровитые умы срывались со смычка, на который их спаривала с Аристотелем свинцовая схоластика, и пробивали новые тропы в области прекрасного. Одна Франция, имевшая столь обширное влияние на всю Европу и в особенности на словесность нашу, Франция живая, Франция вертяная, Франция, у которой всякий вкус загорается страстью,— постриглась в монахини и заживо замуровала свой ум в гробовые плиты классицизма. В то время как Италия владела уже Дантаном, одним из самых творческих, оригинальных гениев земли; когда Кальдерон населил испанскую сцену драмами, полными огня и простоты; когда Камюэнс выплыл на доске с разбитого корабля, держа над головою своих «Лузитан»; ⁴² когда Англия, в мятеже волн и междоусобий, закалила дух Шекспира, великого Шекспира, который был сама поэзия, весь воображенье... эолическая поэзия Севера, глубокомысленное воображение Севера... в то время, говорю, Франция набивала колодки на дар Корнеля и рассыропливала Расина водой Тибра с оржадом пополам. Пускай бы еще она изображала древний мир, каков он был в самом деле,— но она

не знала его, еще менее понимала. Французы нарумянили старушку древность красным-красно, облепили ее мушками, затянули в китовые усы, научили танцевать менуэт, приседать по смычку. Бедняжка запинаясь на каждом шагу своими высокими каблучками, путалась в хвосте платья, заикалась цезурами сверх положения, была смешна до жалости, скучна как нельзя более. Но зрителей и читателей схватывали судороги восторга от маркизов Орестов, от шевалье Брютюс, от мадам Агриппины, лиц очень почтенных, впрочем, и весьма исторических притом, которые по-сменно говорили проповеди александрийскими стихами и обеими горстями кидали пудрой, блесками и афоризмами, до того приношенными, что они не годились даже на эпиграфы. Да одних ли древних переварили французы в своем соусе? Досталось всем сестрам по серьгам. И дикая американка, и турецкий султан, и китайский мандарин, и рыцарь средних веков — все поголовно рассыпались конфетами приветствий, и все на одну статью.

Зажмурьте глаза — и вы не узнаете, кто говорит: Оросман или Альзира⁴³, китайская сирота или камер-юнкер Людовика XIV. Малютку природу, которая имела неисправимое несчастье — быть не дворянкою, по приговору Академии выгнали за заставу, как потаскушку. А здравый смысл, точно бедный проситель, с трепетом держался за ручку дверей, между тем как швейцар-классик павлинился перед ним своею ливреею и переважно говорил ему: «Приди завтра!» И так долго не пришло это завтра, а все оттого, что французы нашли божий свет слишком площадным для себя, живой разговор слишком простонародным и вздумали *украшать природу, облагородить, установить язык!* И стали нелепы оттого, что чересчур умничали.

Чудное дело: французы, столь охочие посмеяться и пошалить всегда, столь развратные при Людовике XV и далее, словно вместо епитимьи становились важны, входя в театр, стыдились услышать на сцене про румяны и слово обед изъясняли перифразами, как неприличность! Французы, столь пылкие, столь безрассудные в страстях, восхищались морожеными, подкрашенными страстями, не имевшими в себе не только правды, но даже и правдоподобия!

Французы, у которых так недавно были войны Лиги, Варфоломеевская ночь, аква-тофана и хрустальные кинжалы Медицисов, пистолет Витри и нож Равальяка⁴⁴, у которых резали прохожих на улицах среди белого дня и разбивали ворота ночью запросто,— на театре боялись брызги крови, капли яду, прятали все катастрофы за кулисы, и вестник обыкновенно выходил рапортовать о них барабанными стихами. Мало этого: не смея драться перед зрителями, французские герои не смели ни поестъ, ни вздремнуть, ни побраниться перед ними*,— котурны поднимали их до облаков. Кроме того, Аристотелева пиитика, растолкованная по-свойски, хватала вас за ворот у входа и ревели: «Три единства или смерть! Признавайтесь: исповедуете ль вы три единства?!» И, разумеется, вы крестились и говорили: «Да разве я, как гриб, вырос под сосною! Разве я не сидел на школьной лавке!» И вот вас впускали в театр; и вот вам заказывали накрепко сморкаться и кашлять; и вот вам говорили: «Эта запачканная занавеска — храм эвменид или дворец тирана (имярек), действие не продолжится более суток (скомканных в четыре часа, не исключая и междудействий); а всего покойнее, что оно не укатится далеко, и будьте вы хоть подагрик, все-таки догоните его, не задыхаясь». Жалкие мудрецы! И они еще уверяли, что вероятность соблюдена у них строго... Как будто без помощи воображения можно забыться в их сидне-театре более, чем в английском театре-самолете, не скованном никакими условиями, никакими приличиями, объемлющем все пути, всю жизнь человека! Неужто легче поверить, что заговорщики приходят толковать об идах марта в переднюю Цезаря, чем колдованью трех ведьм на поляне? Ужели воображение, как извозчик, нанимается только на день и боится перейти через улицу, чтоб не получить насморка? Ужели оно лучше поймет напыщенный, чопорный, условный язык, которым не говорила ни одна живая душа, нежели обычное между людьми наречие?

Как ни противуестественно все это, но все это сохранилось в целости до 1820 года. Франция побыла республикою, побыла империею; революция перекипятила ее до млада в кровавом котле своем, но старик-театр остался тем же стариком. Ломая алтари, Франция не тронула точеных

* Что вытерпел Корнель, позволив в своем «Сиде» пощечину... Вольтерова Мариамна упала оттого, что какой-то шалун закричал при отравлении: «La reine boit!» («Королева пьет!» (франц.)).

ходулей классицизма; она отрекалась от веры и осталась верна преданиям Батте, стихам Делиля⁴⁵, так что когда русский казак сел на даровое место в Одеоне в 1814 году, он зевал от тех же длинных, длинных монологов, от которых зевать изволил и Людовик XIV, с тою только разницею, что революционер Тальма осмелился не петь, а говорить стихи, проглатывать цезуры и ходить по-человечески, а не гусиным шагом⁴⁶.

Но не вся литература французская катилась по театральной колее. Смерть Людовика XIV выпустила на волю умы и нравы. Придворное волокитство превратилось в разврат, ханжество — в вольнодумство. Материализм закабалил философию. Рабле, проницательный ловец слабостей общества, и Монтань, глубочайший исследователь слабостей человека, оба романтики первой степени, — были забыты. Мольер и Лафонтен, два гения, которые посреди всеобщего лицемерства и ползанья умели сохранить искренность и смели говорить правду, — пошли за бесцен. Вольтер, с дружиною энциклопедистов, овладел всем вниманием Европы, Вольтер, который был трибуном своего века, представителем своего народа. Гордый ползун, льстец и насмешник вместе, скептик по рождению и остроумец по ремеслу, он первый своими сказками научил вольнодумство наезднической стрельбе насмешками. Вольтер был Диоген XVIII века⁴⁷, но Диоген-неженка, Диоген с ключом на кармане, Диоген, который не только смеялся над людьми и богами, но лстыл богу и людям.

Как ни велика была, однако ж, власть Вольтера, даже у нас, где иные до сих пор считают его, жалкого болтуна, величайшим философом, Вольтер не опередил своего века. Своевольный, оригинальный в родах сочинений, им созданных, он от души копировал в «Ганриаде» древнюю эпопею, смеялся над мужиком Шекспиром и, не веря ничему, набожно веровал в предания французского театра. Можно судить, что он был по плечу своим современникам, когда Академия избрала его в свои члены — за «Орлеанскую деву», поэму, пятнающую век свой! И Франция рукоплескала этой поэме, в которой он волочил по грязи священное имя Иоанны д'Арк и отдавал посмеянию чистейшую славу ее предков!

Но романтизм имел представителя и в эту пору человечности: то был независимый чудак Руссо. До него, около него в поэзии ученые не видали ничего выше греков и римлян, — идеал совершенства был у них назади. За уто-

пией рылись они в земле, а не в небе. Напротив, блестящий сон Руссо, увлекательный парадокс Руссо, отверг не только все обычаи общества, но извратил и самую природу человека: создал своего человека, выдумал свое общество. Правда, подобно Платону, он заблудился в облаках, он не достиг истины, главного условия поэзии; но он искал ее, он первый, хотя и в бреду, сказал, что мир может быть улучшен иначе, как есть, иначе, как было. Дон-Кихот утопии, он ошибся в приложении; но начала его были верны. Поэт без рифм, мыслитель без педантизма, он оставил звено между материализмом века и духовностью веков.

Но современники не могли постичь в Руссо борения двух этих сил, не умели оценить его искренности: они заслушивались только гармонии его красноречия, выписывали страницы из «Элоизы» в свои *billets doux* * — и отправлялись в маленький домик, на свидание с какой-нибудь маленькой маркизой. Откупщики доживали тогда остальные миллионы, аристократия — последний кредит свой, но все звенело, все прыгало: деньги и люди; система Лау изображала золото, которого уже не было ⁴⁸, титулы — достоинства, которые исчезли; литература стала мелочна, как люди, бесстыдна, как люди. Кребийон-сын ⁴⁹ и подражатели Грекура ⁵⁰ (я беру только фланговых) были достойными историками этой поры холодного, жеманного разврата, с насмешкою на устах, с носом на ветер, с грудями напоказ... Не наше дело исследовать грозу, всколебавшую всю Европу до дна и надолго; но долг наш заметить, что в последние годы перед революцией началось переселение мнений, и центром его была Франция, а проводником его — французский язык.

Материальная Европа хлынула в Россию, когда Петр Великий сломал стену, их делившую; но веку Петра некогда было заниматься словесностью: его поэзия проявлялась в подвигах, не в словах. Долгое бездействие пало на Русь с кончиною его кипучей деятельности, а в час досуга русский барин любил чужестранные сказки; он искони отличался необыкновенною уступчивостию своих нравов, необыкновенною приемлемостию чужих. Он пил кумыс с ханами Золотой Орды; он носил контуш ⁵¹ при Самозванце. За бороду, правда, он спорил долго, будто б она приросла у него к сердцу; но раз в мундире — он грудью полез в немцы. При Елисавете французские нравы сменили

* любовные записки (франц.). — Ред.

обычай Бирона,— русский барин не остался и тут назади, так что в царствование Екатерины смешение языков гасконского с нижегородским не было уже диковинкою. С тех-то пор привыкли мы жить парижскими обносками и объедками, не разбирая старого от нового, хорошего от худого. С тех-то пор французская литература завалила матушку Русь своими обломками и своими потомками. С приторною французскою кухнею въехали к нам и герои французского стряпанья. Бульон (не граф Бульон) и галантин выставлены были на одном паспорте с Нарцессом и Клелией, рагу и фрикасе нагрянули об руку с Полифонтом и Нероном тиранами желудка и терпения в четырех лицах. Зефиры и Адонисы, Оронты и Селимены, сахарные голубки и розовые барашки переложены были чепчиками и робронами. Мраморная челядь Олимпа, оборвыши со всей Италии, замыкали шествие. Но пусть бы уж вытерпели мы одну скуку от настоящих и переделанных на русские нравы Криспинов, Валеров⁵², от злодеев и наперсников, которые приходятся ко всем лицам, как винты Систербецкого завода⁵³ ко всем гайкам. Пускай бы уж осуждены мы были слушать ухорезную французскую музыку, питаться соусами-микстурами, слоняться по стриженным в виде грибов аллеям Ленотра⁵⁴, любоваться пестрядинными картинами Ванлоо⁵⁵. Так нет, Франция XVIII века наводнила нас песнями, гравюрами и книгами, постыдными для человечества, гибельными для юношества выдумками, охлаждающими сердца к доблестям старины, лишаящими собственного уважения. Эти-то отвратительные подстрекания убивали в цветущие лучшие надежды России, ставя целью бытия животные наслаждения, внушая неверие, или, что еще хуже, равнодушие ко всему благородному в человеке, ко всему священному на земле!..

Краснея как русский, упоминая (вспоминать я, слава богу, не могу) про эту эпоху графинек и князьков, мушек и фижм, привозных романчиков в двенадцатую долю и связей на три часа, не имевших извинением ни любви, ни пылу, ничего, кроме моды,— связей, не посыпанных даже блестками французского остроумия! — эпоху, в которую городское дворянство наше так же усердно старалось выказывать свою безнравственность, как в другое время ее прячут, в которую продажность гуляла везде без укора или скрывалась без труда!! Довольно, и через край, золотили мы прошлый век свой— время наперекор нам съедает

эту сусальную позолоту... Старички ахают, заводя слово о тогдашних весельях, о дешевизне, о легкости жить и служить! Надо знать (не к тому будь сказано): каково отозвалось это деткам? Они выплачивают долги их и аптеке и ломбарду за их безрасчетную роскошь на имение, на здоровье, на самую доброту. Эмигранты отдалили нас за гостеприимство не одною своею ничтожностью и безграмотными гувернерами, но профилями своими, но и пудами сублимату, но и душегубными книжонками, с которых переводы таятся доньше в углах наших уездных библиотечек, на соблазн внукам. Кто, однако ж, выследил пути провидения, кто? Может быть, оно нарочно дает грязному ручью пробраздить девственную землю, чтобы в его ложе бросить по весне многоводную реку просвещения!..

И не одна мода была причиною пристрастия русских к французской литературе, но и потребность. По моде я могу пить лимонад вместо квасу, но жажда тем не менее существует во мне, независимо от подражания или привычки. Жажда чтения пробудилась и в русских с начатком просвещения; а из какого источника могли они скорей всего утолить ее, как не из самого подручного? Свое не было еще создано или таилось забыто! Англия для нас лежала тогда на дне моря-океана, Германия была еще неметчиною (то есть бессловесною) не для одних нас, древность пела Лазаря в одних семинариях, и Тредьяковский отпугнул русских надолго от гекзаметров и древних своими попытками. Ломоносова, правда, хвалили все... и никто не читал!.. Публика *экспликовала* свою *десперацию*⁵⁶, что ей нечего читать. *Аттенция*⁵⁷, с которой она приняла Курганова письмовник⁵⁸, ободрила писак на дальнейшие подвиги, и вот Скюдери обновилась для нас в Федоре Эмине, Реньяр назвался Княжниным⁵⁹, трагедия завывала Сумароковым, эпопея отпела себя в Хераскове. И вдруг из этого моря миндального молока возник огнедышащий Державин и взбросил до звезд медь и пламя русского слова. Самородный великан этот пошел в бой поэзии по безднам, нагнул огнепернатый шлем, схватив на бедро луч солнца, раздавливая хребты гор пятою, кидая башни за облака. Философ-поэт, он первый положил камень русского романтизма не только по духу, но и по дерзости образов, по новостям форм. Прочтите его «Ласточку», его оду «Бог», его оду «К счастью», его «Фелицу», «Вельможу», «Водопад» — и вы назовете их романтическими поэмами. Его восторг сплавлен всегда с грустною мечтательностью.

Но едва ли успех Державина заключался в его таланте. Все поклонялись ему, потому что он был любимец Екатерины, потому что он был тайный советник. Все подражали ему, потому что полагали с Парнаса махнуть в следующий класс, получить перстенок или приборец на нижнем конце вельможи или хоть позволение потолкаться в его прихожей... Все читали Державина — очень немногие понимали. Публике нужна была словесность для домашнего обихода... И вот Богданович промолвился очень мило своею «Душенькою». И вот Фонвизин замедил для потомства лица своих современников-провинциалов. И вот явился Дмитриев с легким стихом, с летучим рассказом, с наречием лучшего общества, кое-где с прозеленью народности. Но почти весь он состоял из переводов. Наконец, блеснул образователь нашей прозы Карамзин. Судьба дала ему две почти несовместные для других выгоды: внушить в русских романтическую мечтательность и потом заставить их полюбить родную историю; возбудить страсть к самым положительным изысканиям, как будто предвещая собой двойственное направление века, которому предшел он. Гравировка началась у нас лубочными картинками Спасского моста, знакомство с немецкою словесностию — драмами Коцебу. Мещанство их не испугало нас (династия Атридов не крепко въелась в наши нравы). Понравилось нам и посмеяться сквозь слезу, — это так близко к природе. Тогда Коцебу и Жанлис уже начали вводить в моду ложную чувствительность, аханье над пустяками, слезы участия для слабостей любви, именно для слабостей, — огня страстей, яду страстей они не знали. Карамзин привез из-за границы полный запас сердечности, и его «Бедная Лиза», его чувствительное путешествие, в котором он так неудачно подражал Стерну, вскружили всем головы. Все завздыхали до обморока; все кинулись ронять алмазные слезы на ландыши, над горшком палевого молока, топиться в луже. Все заговорили о матери-природе, — они, которые видели природу только спросонка из окна кареты — и слова *чувствительность, несчастная любовь* стали шиболетом⁶⁰, лозунгом для входа во все общества.

Вопреки этому безвременному расслабленному вертеризму, занятому по передаче от немцев, XIX век взмошел не розовою зарею, а заревом пожаров; но Русь еще дремала, русская словесность еще пережевывала Мармонтеля и мадам Жанлис. Один только самобытный, неподражаемый

Крылов обновлял повременно и ум и язык русский во всей их народности. Только у него были они свежи собственным румянцем, удалы собственными силами. Он первый показал нам их без пыли древности, без французской фольги, без немецкого венка из незабудок. Мужички его — природные русские мужики; зверьки его с неподкрашенною остью. Счастливы мы: Крылов и XIX век были нашими крестными отцами! Первый научил нас говорить по-русски, второй — мыслить по-европейски. Тогда Державин уже дотлевал между новыми развалинами любителей русского слова. Дмитриев молчал уже; Карамзин еще писал только свою «Историю». Один Крылов был достойным представителем словесности нашей.

Между тем Европа проживала века в немногие годы. Русь везде простирала меч свой между деспотизмом Наполеона и правами народов, которым грозил он; сражалась за них... всегда благородно. Купчиха Англия стреляла чугуном, и золотом, и пасквилями в великана, который обещал согнать ее с земного шара. Только Германия, улетев из житейской жизни, углубясь в умозрительные тонкости, прислушивалась к гармонии сфер и, подобно Архимеду, не слыхала, что враги берут приступом ее священные твердыни. Англия давно имела свою огромную оригинальную поэзию, но она жила с нею посреди волн и туманов, одиноко, как отшельник, счастливый миром дивных мечтаний, в груди его совершающихся. Мир этот долго жил без отголоска в нашем мире, покуда гений Шиллера не угадал его девственной прелести и не усвоил немецкой словесности романтизма Шекспирова во всей величавой его простоте. Пред ним, за ним, рядом с ним закипела словесность, история, философия, критика новыми, смелыми, плодотворными идеями, объяснившими человечество, раздвинувшими ум человека уже не бедным опытом, как прежде, но пытливостию воображения. Тогда же блеснул и Гете, который собрал в себе ярким светилом все лучи просвещения Германии, который воплотил, олицетворил в себе Германию, мечтательную, полуземную Германию, вечно колеблющуюся между картофелем и звездами, Германию, которой половина в пыли феодализма, а другая — в облаках отвлеченности, Германию, простодушную до смеха и ученую до слез, Германию всеобъемлющую, вселюбящую, всезнающую, все, начиная с фиглярств Изидина храма до замыслов Розенкрейцеров, от символизма «Зенд-Авесты» до магнетизма земли⁶¹.

Все, что создали гении германские для памяти, для умозрения, для воображения, совместились в Гете. Все яркое в мире отразилось в его творениях, все... кроме чувств патриотизма,— и этим-то всего более осуществил он в себе Германию, которая вынула из человека душу и рассматривала ее отдельно от народной жизни, анатомировала законы природы без отношения их к человеку. Фауст есть фокус гения Гете, точно так же, как сам он был фокусом просвещения и духа германского.

Но Германия, истощенная умственным усилием ее гениев по всем отраслям точного и прекрасного, гениев, которые каким-то чудом взошли дружными созвездиями вдруг на горизонте прошлого полу столетия, упала в дремоту и, воротясь из всемирного облета, уселась за частности, за быт запечный, нарядилась в *alte deutsche Tracht* *, заиграла на гудке сельскую песню, зафилософствовала на старый лад с Гегелем, затянула с Уландом про что-то и нечто, превратилась в лепет засыпающего. В эту-то эпоху застал ее Жуковский и, плененный чистою мечтательностью Шиллера и легендами немецкой старины, пересадила романтизм в девственную почву русской словесности. Но он пересадила только один цветок его, один из необъятной его природы. Еще Русь отзывалась грустными напевами Жуковского, еще перед очами нашими носились туманные образы его поэзии, еще сердце теплилось его неземною любовью, его отрадными надеждами замогильными, когда блеснул Александр Пушкин, резвый, дерзкий Пушкин, почти ровесник своему веку и вполне родной своему народу. Овладев языком, овладеваем страстями до глубины души, он скоро мог сказать вниманию публики: «Моё!» Сначала причудливый, как Потемкин, он бросает жемчуг свой в каждого встречного и поперечного; но, заплатив дань Лафару и Парни, раскланявшись с Дон-Жуаном, Пушкин сбросил долой плащ Байрона и в последних творениях явился горд и самобытен. Но я не раскинусь в обзоре ни о Державине, ни о Жуковском, ни о Пушкине; да и зачем бы я стал пересказывать то, что так дельно, так беспристрастно, так увлекательно высказано в «Телеграфе», журнале, которым должна гордиться Россия, который один стоит за нее на страже против староверства, один для нее на ловле европейского просвещения!

* древненемецкие одежды (нем.). — Ред.

Впрочем, имея целию заметить, какое влияние произвела действительность на поэзию и как высказывались века поэтами, я не поставлю Державина на одну доску с Жуковским и Пушкиным, потому что первый изумил всех, подобно комете, но исчез в пучине воздуха без следа; а два последние были двигателями нашей словесности и затаврили своим духом целые табуны подражателей. Народность Державина ускользнула от его близоруких современников точно так же, как незаметно протекла чистота языка Ломоносова прежде, и Державин, несмотря на ливень торжественных од, умер без наследников, даже без подражателей.

Жуковский и Пушкин, напротив, при жизни своей увлекли в свою колею тысячи, но увлекли нечаянно, неумышленно, так сказать *гусаром**. Тьма бездарных и полударных крадунов певца Минваны⁶² сделались вялыми певцами *увялой* души, утомительными певцами *томности*, близорукими певцами *дали*. И потом собачий вой их баллад, страшных одною нелепостию, их бесы, пахнущие кренделями, а не серою, их разбойники, взятые напрокат у Нодье, надоели всем и всякому не хуже нынешней гомеопатической и холерной полемики. С другой стороны, гяуризм и донжуанизм, выкраденный из карманов Пушкина, разменянный на полушки, разбитый в дробь, полетел из всех рук. Житья не стало от толстощекой безнадежности, от самоубийств шампанскими пробками, от злодеев с биноклями, в перчатках *glacés*; ** не стало житья от похмельных студентов, воспевающих сальных гетер Фонарного переулка. Но как бы то ни было, мы перестали играть в жмурки с мраморными статуями, и роковое слово — *романтизм!* — было произнесено. Оно раздалось выстрелом.

Надо было видеть, как встрепнулся тогда старикашка-классицизм от дремы на своей кафедре, источенной червями. «К перу! к перу!» — возопиял он гласом велиим и, наточив указку, потащился в бой с романтиками. Должно признаться, что бескровный бой этот был очень смешон. Старики не постигали древних; молодежь толковала о новых писателях понаслышке. Одни задыхались под ржавыми латами, другие не умели владеть своим духовым ружьем.

* Бильярдное выражение. Когда безрасчетным ударом игрок положит в лузу шар, в который не метил, это называется — гусар. — *Примечание для прекрасного пола.*

** лайковых (франц.). — *Ред.*

Стыдно, право, упоминать, что писали те и другие в обвинение друг друга! Но молодежь между тем понемножку училась, кой-что вычитала,— а старички наши только упирались; конец можно было предвидеть: фарфоровый Голиаф брякнулся оземь,

И весь... ща там образ напечатал.

Майков ⁶³

Романтизм победил, идеализм победил,— и где ж было воевать пудре с порохом? Но не будем самолюбивы. Не наши силы, не наши познания были виною такой победы — далеко нет! Нас выручило время, единственный в свете старик без предрассудков, старик, который вечно баует молодежь и шалит с нею заодно. Мы не приняли романтизма, но он взял нас с боя, завоевал нас, как татары, так, что никто не знал, не видел, откуда взялись они. Он скитается между нами, этот вечный жид; он уже строит свои фантастические замки, а мы все спорим, существует ли он на свете, и, вероятно, не ранее поверим, что он получил русское гражданство и княжество, как прочитав это в «Гамбургском корреспонденте».

Вместе с появлением у нас германской мечтательности и английского сплина еще пожаловал на святую Русь неожиданный, но милый гость: я говорю об историческом романе. Гений Вальтера Скотта угадал домашний быт и вседневный ум рыцарских времен, точно так же как Гиббон постиг их быт политический, как Нибур выкопал Рим царей из-под тройной лавы консульства, императорства и папства ⁶⁴. Да, Вальтер Скотт sprysнул их живой водой своего творческого воображения, дунул им в ноздри, сказал: «живите»,— и они ожили, с румянцем на щеках, с биением действительности в груди. Это не выходцы из могил с прахом тления на теме, не тень Саула в общем смертном мундире, то есть в саване; напротив, это живые люди, с их мелкими страстишками, с их поверьями, с их обычаями, с любимыми их приговорками. Он распахнул перед нами старину, но не ее подвинул к нам, а нас перенес в нее, заставил нас любить, драться, буянить, пить, трусить вместе с своими героями и за своих героев. Конечно, в таможенном значении слова, Вальтер Скотт не романтик по предмету, но он романтик по изложению, по формам, по стерновскому духу анализа всех движений души, всех поступков воли. Он не говорит, как идеалист: почему? Но он говорит потому и потому-то. Самая точка

воззрения на старину доказывает, что он поэт,— этого довольно. Поэт в наш век не может не быть романтиком.

Континентальная система⁶⁵, заправшая Европу от Англии, рухнула вместе с Наполеоном и в литературном отношении. По закону равновесия гидростатики, английская и немецкая мысленность пролились во Францию, как скоро опал вихорь, мешавший им прийти в уровень. Бурун от этого тройственного борения был страшный, потому что под именем романтизма и классицизма там сражались политические и религиозные партии. Сила, соединенная с убеждением, решила бой там; в этом наше дело сторона; но забудем ли, что мадам Сталь первая ввела в гостиную Франции германскую музу, а Вальтер Скотт заманил французов в знакомство с Шекспиром, разлакомил их своими досказками к истории и внушил Баранту его романтическую летопись⁶⁶. Одним словом и наконец, Вальтер Скотт решил наклонность века к историческим подробностям, создал исторический роман, который стал теперь потребностью всего читающего мира, от стен Москвы до Вашингтона, от кабинета вельможи до прилавка мелочного торговца.

И вы думаете, что это сделалось людьми и вдруг?

Montaigne eût dit: «Que sais-je?», et
Rabelais: «Peut-être».

V Hugo *

Я не скажу ни того, ни другого, потому что я думаю иначе, потому что я верю в то, что обдумал...

Изысканность европейская, оседлав газ и пар, искрестив облака и океаны, открыла новые миры и в области мышления, и в пыли забвения. Чем далее пронзал взор ее туман будущего, тем вернее, тем глубже мог он проникать и в минувшее. Зрение расширяется во все стороны: это закон природы. Нибелунги, благодаря кропотливости, освободились из подземелья Сен-Гальского монастыря. Обновилась «Эдда» скандинавов; нашелся «Артус» и другие карловингские поэмы. Гебер открыл индийскую «Илиаду»⁶⁸, а Карей, Шези, Козегартен, Вильсон растолковали ее. Мы, русские, выкопали свою прелестную жемчужину — «Песнь о полку Игореве»... Мог ли же русский свежий народ быть чужд этого движения? Мог ли он не подумать

* Монтень сказал: «Что знаю я?», а Рабле: «Может быть». — В. Гюго⁶⁷.

об истории, он, который так славно, так бескорыстно работал для истории? Карамзин заохотил нас к преданиям нашей старины; археологические попытки собрали кой-какие элементы для романа. Исторические повести Марлинского, в которых он, сбросив пути книжного языка, заговорил живым русским наречием, служили дверьми в хоромы полного романа... Любопытство было напряжено тем сильнее, что Пушкин только дразнил его главами «Онегина», что на театре не было ничего, кроме битых-перебитых водевилей с французского, только из учтивости называемых двусмысленными. И вот выискался наконец человек, который решился прыгнуть в разверстую пасть крокодила — публики. Это был Булгарин.

Господин Булгарин исполнил этот подвиг так же удачно, как смело. Зависть, возбужденная его «Дмитрием Самозванцем», доказала, что в нем были достоинства; но скажем правду: в нем он подарил нас европейским, не русским романом. Труд его, конечно, заслуживает одобрение современников, но едва ль врежется в память потомства, оттого что автор не постиг духа русского народа, не доглядел того, что не народ, а вельможи подкопали трон Годунова, что не любовь к Рюриковичам, а зависть бояр к власти недавнего товарища была причиной успехов Дмитрия. Не Русь, а газетную Россию изобразил нам он. Мастер в живописи подробностей, естественный в теневых сценах⁶⁹, он натянута там, где дело идет на чувства, на сильные вспышки страстей. Характер Годунова очернен, характер самозванца не выдержан, а государственные люди его чересчур просты и трусливы: им ли быть советниками или врагами царей, главами заговорщиков, виновниками переворотов! Потом, он слишком романизировал похождения своего героя и прибег к чудесному, очень уже изношенному, заставив колдунью пророчить Годунову самым пошлым образом над змеями и жабами, которых (между нами будет сказано) не найти в марте месяце ни за какие деньги. В «Петре Выжигине» историческая часть вовсе чахотна. Уверять, что Наполеон пошел в Россию, обманутый Коленкуром, будто его примут с отверстыми объятиями, можно было в 1812 году, не позже; да и тогда этим слухам верили только на гостином дворе. В подобном тоне писаны почти все портретные сцены с Наполеоном, а Наполеон занимает в «Выжигине» более места, чем самый герой повести. Русских едва видно, и то они теряются в возгласах или падают в карикатуру. Впро-

чем, ошибочные в целом, романы Булгарина в частности носят отпечаток даровитого юмора, и многие из лиц его обратились в поговорку. Мы обязаны ему благодарностью за пробуждение в русских охоты к родным историческим романам. Он первый прошел по скользкому льду; мудрено ль, что стезя его излучиста? Теперь ступайте!..

Призыв не остался напрасен. Явился Загоскин и с первой попытки догнал Булгарина, хотя он далеко не оправдал заносчивых титулов своих романов: «Милославский, или Русские в 1612 году», «Рославлев, или Русские в 1812 году»! Неужели три-четыре черты составить могут картину? Неужели пара помещиков, да пары две офицеров, да один уголок траншеи под Данцигом могут дать полное понятие о русских, о войне громового 1812 года? Помилуй бог! В истине мелких характеров и быта Руси он превзошел автора «Самозванца», нисколько — во взгляде на события. Притом чужеземная поделка не спряталась у него под игривостью русского языка. Его Юрий — метампсихоза Вальтер-Скоттова Веверлея. Его поп-партизан — испанский Эмпечинадо⁷⁰, его Зарядьев — капитан из романов Купера; даже героиня любви «Рославлева» вспенена из двух стихов трагедии «Освобожденная Москва»:

Она жила и жизнь окончила для Вьянка:
Да тако всякая погибнет россиянка!⁷¹

Словом, нет в нем ничего необыкновенного, поразительного, но умильного много, но забавного много, и вы не увидите, как дочитались до конца, и вы досадуете, зачем так скоро пресекает ваше он удовольствие.

Потом романы «Дочь купца Жолобова» и «Камчадалка», г-на Калашникова, столь богатые картинными описаниями Сибири. Потом «Стрельцы» и «Черный ящик», г-на Масальского, столь драгоценные по материалам, объясняющим любопытнейшую эпоху нашей истории, доказали, сколь бессильно самое дарование, убитое подражанием. Один только сочинитель «Последнего Новика»⁷², несмотря на прыгучий слог свой и на двойную путаницу завязки, умел стать самобытным, умел избежать укора за вербовку подробностей исторических, оживив их горячею игрою характеров. Впрочем, не смею судить о целом, не читав последней части «Последнего Новика». Умалчиваю о сборнике всякой всячины, выданном под заглавием «Шемяка»⁷³, и других подобных ему романах; из них отрывки вещуют,

каковы они выльются; но я рад, что всякий герой находит себя у нас по писальщику и всякий писальщик публику по себе. Пускай читают хоть Александра Орлова⁷⁴ — это все-таки лучше, нежели злословить, бездельничать или переметывать карты.

Между тем как Пушкин воздвигал пирамиду в пустыне нашей поэзии (я говорю об его «Годунове»), Н. Полевой, который с таким пылким самоотвержением посвятил себя правде и пользе русского просвещения, который так смело и неутомимо наезжал на заповедные имена, на заветные наши ничтожества в печатном мире и сводил не на шапочное знакомство, а на приятельство с европейцами, — Полевой издал три тома своей «Истории русского народа». То уже не был златопернатый рассказ Карамзина, но повествование, пернатое светлыми идеями. Не из толпы и не с приходской колокольни смотрел он на торжественный ход веков, но с выси гор. Взор его проникал в сердце народов, обнимал все ристалище человечества. Он вызывал на неумытный суд недостойных из толпы прославленных и обрывал с них незаслуженное сияние луч по лучу; зато с горячностью прозелита сдувал он черную пыль клеветы с чела праведников, брошенную на них пристрастием современников или ошибками позднейших историков. Напутствуемый Барантом, Тьерри, Нибуrom, Савиньи, он дорывался смыслу не в словах, а в событиях, решал не по замыслам, а по следствиям, — словом, подарил нас начатками истории, достойной своего века. Эта-то самая современность, с ее заботливою походкою, с ее подозрительною ошупью, с ее отрывистою речью, кинулась в глаза нашей посредственности, не золотой, даже не золоченой посредственности, которая не только не успевала за временем, да и не думала равняться ему хоть в затылок. Все зашевелилось. Университетский колокольчик приударил в набат. Зашипели кислые щи пузырьные, и все, которых задевал Полевой своею искренностью, расходились на французских дрожжах. Зело русские и полунерусские подали друг другу руки и, припав за имя Карамзина, начали швыряться побранками. Полевой отвечал новыми услугами за новые насмешки. Ему вспало на ум: досказать русскую историю — повестью, ознакомить нас с домашним бытом предков наших без прикрас, так сказать, показать подбой княжеской мантии, распоясать крестьянина, растворить ум и сердце русского народа и заставить там причину событий в едва заметном зерне. Он избрал слова Вите: «Это не теат-

ральная пьеса, это исторические события, представленные под формою драмы, но без требования на драму»⁷⁵, — своим девизом. Вследствие этого он написал сперва повесть «Симеон Кирдяпу» и теперь «Клятву при гробе господнем», русскую быль XV века.

Мысль была счастливая. Элементов (не скажу материалов) для воплощения этой мысли — множество, вопреки мнению многих грамотеев наших, будто создание исторического романа, или живопись исторических сцен, на Руси невозможны. О, конечно, невозможны, если палитрой вашей будут одни харатейные и полууставные грамоты, если вы не омочите кисти в сердце русское, если вы не умеете зажечь взором вашим мертвые буквы, если ухо ваше не может подслушать вздоха старины и по этому вздоху угадать страсть ее!! Мы видели, как всякое событие давало свою особенную грань и характерам и словесностям народов; ужели ж мы одни даром прожили века? Ужели роковые перевороты над нами таяли, как вешние снега, бесследно? Или князья наши не имеют для нас никакой занимательности оттого, что они читали «Отче наш», а не «Pater noster»?⁷⁶ оттого, что жили в деревянных дворцах, а не в плитных замках? Или крестьяне наши были животнее европейских рабов, робче их, беднее их? Я думаю, вовсе напротив. Русь была отчуждена от Европы, не от человечества, и оно при подобных европейских обстоятельствах выражалось подобными же переворотами. За исключением крестовых походов и реформации, чего у нас не было, что было в Европе? А сверх того, характеры князей и народа должныствовали у нас быть ярче, самобытнее, решительнее, потому что человек на Руси боролся с природою более жестокою, со врагами более ужасными, чем где-либо. Двуличный Янус, Русь глядела вдруг на Азию и Европу; быт ее составлял звено между оседлою деятельностью Запада и бродячею ленью Востока. Оттого какое разнообразие влияний и отношений! Варяги на ладьях покоряют ее. Печенеги, половцы, черные клобуки зубрят⁷⁷ ее границы. Грозой налетает на Русь Царьград и завоевывает в Корсуни христианскую веру. Вольный Новгород опоясывается хребтом Урала и бьется с божьими дворянами в Лифляндии, напирает на свейцев за Невою, режется с литовцами, везет свои товары в города Ганзы. И потом битвы междоусобий, и потом губительное нашествие татар, и душная ночь их власти, в мраке коей спело единодержавие... И потом войны с шумными поляками, с дикими

литовцами, Иоанн Грозный, попытка обратить нас в католичество, мятежи самозванцев, и мудрый Алексей, и необъятный Петр! Да, это море-океан!.. Море, еще не езженое, неизведанное и тем более занимательное, оригинальное. Вглядитесь в черты князей наших, сперва исполинские, потом лишь удалые, потом уже коварные, и скажите, чем хуже они героев Вальтера Скотта или Виктора Гюго для романа? У них, как везде, был свой махиавеллизм для силы и для бессилия, были свои ковы и оковы, и яд под ногтем, и нож под полою. У них были свои лъстецы-предатели, свои вельможи-дядьки, свои жены царь-бабы, свои братья-каины. Про них звучали струны певцов, про них звонили колокола монастырей. И они гордились породой, как электоры на священную империю⁷⁸, а на охоте с соколами, на звериной травле, конечно, были удалее любого барина, потому что такого раздолья для скачки, такого приволья на дичь, как на Руси, и во сне не видали европейские паладины. И они пировали не менее шумно и весело, чем вожди кланов, и они лазили через тын к боярыням. Как французские сеньоры, имели свои моды, свое остроумие, свой особый язык. Суровость зим, бездорожье и даль давали средства удельным князьям не покорничать великому, воевать соседних и сгонять друг друга с отня стола. Беспрестанные стычки с кочевыми наездниками и войны междоусобий закаливали их нравы опасностями, давали храбрость, а храбрость разжигала честолюбие. Они жаждали битв для славы, славы для власти. Далее, какой богатый источник для романиста — местничество бояр и дворян, которые сперва могли переходить от одного князя к другому без предосуждения, их мелкие ссоры, их могучее влияние! За ними двор и дворня, гридни и наемные дружины княжие. Да и черный народ наш (кроме рабов), — смерды, людины, крестьяне, мещичи, — без сомнения, долженствовал быть гораздо смышленнее сервов средних веков. Они не составляли части земли: они имели свои сходки, они ходили на войну с князьями, чего не было в Европе. Притом борьба с природою и с враждебными обстоятельствами необходимо развивала их физические и нравственные силы. Принужденный делать для себя все, начиная от лаптя до шлема, от горшка до колеса, русак становился изобретателем и самонадеян. Оставленный собственным силам в глуши лесов, в болотах, в сугробах снега, он стал отважен и находчив. Неуверенный, что завтра принадлежит ему, он сделался ленив и беззаботен. Но он

не был низок, ибо не терпел унижения наравне с вассалами Европы.

Ни рвы, ни башни не делили их между собою. Жалобы селянина доступны были боярину, и быт боярина, простой почти столько же, как быт селянина, не давал повода первому презирать последнего, ни последнему ненавидеть первого. Правда, войны сметали их раз по пяти на веку... Зато они сами, в набегах с князем своим, вымещали на врагах то, что терпели дома, участвуя в грабежах и в дележе. Толки: «Мы сбили, мы решили», — утешали их в неудаче, и бедняги эти крепко засыпали голодные, свернувшись в бараний рог на пепле и на морозе, но убаюканные надеждою на добычу, на клады, на какое-нибудь чудо, — а русский верил чудесам, любил чудесное наравне с смешным, потому что первое золотило ему будущее, второе подслащало настоящее. Каждый перекресток имел тогда свою легенду, каждый пруд — своего духа, каждый лес — разбойника, каждая деревня — колдуна, каждый базар — сказочника. Чудесное бегало тогда по улицам босиком, приезжало из-за моря гостем, стучалось под окном посохом паломника. Оно совершалось наяву и во сне... Могучие народы набегали и исчезали, не оставив даже своего имени ветру степному. Славные князья бродили между чернью, нищими или тлели в тюрьме без очей. Ничтожные бояре правили судьбами княжений, простые чернецы становились владыками. Мудрено ли ж, что добрые предки наши жадно слушали о том, как черт попался в рукомойник, о блаженных макарийских островах, о странах пригишпанских, где народ — немцы и торгуют райскими птицами, о людях с собачьим рылом или с рыбьим хвостом, об оленях с финиковым деревом между рогов... Этнография, география, история — все тогда было сказка, а сказка значила повесть, потому что правда тогда была близнец выдумке. Находились люди, у которых на памяти Полкан-богатырь дрался с Добрынею, а у Пересвета, не то на крестинах, не то на поминках, ели они кашу. А мертвецы, а привидения, а знахари, а ведьмы наши? Ведьмы, которых жгли тогда так же равнодушно, как теперь фейерверки! А домовые и лешие, вовсе не родня гамадридам, точащим кровь под секирою, или дивам-получеловекам, — нет, они воздушны, невещественны, проказливы, как Пук и Ариель Шекспира, как Трильби Нодье⁷⁹. Да и что за богатое, оригинальное лицо сам черт наш! Он не Демон, не Ариман, не Шайтан, даже не Мефистофель — он

просто бес, без всяких претензий на величие. Он гораздо добрее всех их. Он большой балагур, он отчаянный резвец и порой бывает проще пошехонца, так что лукавцы надувают лукавого во всех сказках, хоть, правду сказать, я думаю, они немножко хвастают. Берите ж, ловите за крылья все причуды, все поверья старины и пустите их роем около лиц, вами избранных, как роились они прежде. Предрассудки — прелесть старины, как прелесть нашего века — фантазия. Предрассудки кипятили старину, как нас кипятит рассудок; пустите ж их работать, будто они сейчас выскочили из экзамена на доктора философии. Мало вам беса, мало вам страхов, так вот смешное (утеха нашей старины и рычаг новой словесности) вертится перед вами на одной ножке скоморохом и заводит бесконечную сказку свою от Сивки от Бурки, от курицы-иноходицы, от поро-сенка-наступника. Казак Луганский⁸⁰ показал, как занимательны могут быть эти простые цветки русского остроумия, свитые искусною рукою. Но Вельтман, чародей Вельтман, который выкупал русскую старину в романтизме, доказал, до какой обаятельной прелести может довести русская сказка, спрыснутая мыслию⁸¹. Да, песня и сказка — душа русского народа: он веселится и горюет с песнею, засыпает под говор сказки. У князей были Баяны, Ураны, Митусы, у черни — Кирши Даниловы, сказочники, слепцы, скоморохи, певцы, которые умели и растрогать и рассмешить до слез, все величать и все пародировать. Умели уколоть шуткою и князя, и боярина, и попа... Отличительная черта русского простолюдина, что он никогда не был изувером и не смешивал веры с служителями веры; благоговел пред ризою, но не пред рясою, и редкая смешная сказка или песня обходится у нас без попа или чернеца. Еще есть у нас стихия, драгоценная для исторического романа: это дураки и шуты. С тех пор как нагую правду выгнали из дворца за бесстыдство, она прикинулась баснею и шуткою... спряталась под ослиное седло, захрюкала, запела кукареку, покатилась колесом, заломила набекрень дурацкую шапку и стала ввертывать свои укоры между хохота и ударов хлопушки. Заметьте, что басня и шутовство всегда проявлялись в Азии: их отчизна Азия, их спутник — феодализм, и будьте уверены, что не случай породил шута, а необходимость. Шут был кривой проводник мнений народа ко власти и нередко проводник правосудия от власти к народу. Обличитель пороков, пересмешник недостатков, он не щадил ни гостей, ни хозяина

и бичевал их намеками, не боясь бичеванья ремнями... Одним словом, шут-простолудин, приближенный к князю, был что-то похожее на народного трибуна в карикатуре. Рассказы, которые ходят в народе про Балакирева, шута Петра Великого, порукой, что можно создавать из подобного лица.

Мало вам и этого — пред вами любовь предков ваших. Как ни изношены у нас сердца, но запрос на любовь еще велик... и посмейтесь, пожалуйста, тому грамотею в глаза, который скажет вам, что в старину мужчины видели женщин только за налом, что про любовь тогда не было и в помине. Видно, эти господа никогда не заглядывали в сердце человеческое; забыли они, что любовь есть не понятие, а чувство, свойственное всем векам и народам. Спору нет, она в старину была не так жеманна и мечтательна, но тем не менее нежна и страстна. Спору нет, предки наши женились через свах, не видя невест; но разве мы не женимся, не глядя на них, из расчетов и для приданого, как всегда бывало; а между тем любовь идет своим чередом. Говорят, знать наша запирала жен и дочерей, особенно со времен татарства; но неужели вы думаете, что замки, и стены, и кинжалы держат любовников даже у мусульман! Сказка! Тем паче у нас, у которых гостеприимный нрав и самая постройка домов тому противятся. Переберите наши песни и сказки — и вы убедитесь в том.

Вот вам и вся лестница духовной иерархии, миротворная, редко честолубивая сверху, невежественная и часто забавная снизу. Клирошане и причетники, бельцы и монастырские крестьяне, все со своим чванством, причудами, правами, в беспрестанном столкновении с мирянами: толпа своеличная даже до нищих, кликуш и юродивых, составлявших неперемный штат каждой церкви! Юродивые занимали то же место между судьбой и народом, как шуты между владельцами и народом. Божьи люди эти были облечены неприкосновенностью; их темные речи принимались за угрозы, за пророчества свыше. Вот вам и самосуд в Новгороде, и примерный суд его с присяжными, с объездным и судьями, с поединками, с русскою правдою, — «поле», которого до сих пор никто не тронул. Вот вам лобное место пред Кремлем, с его правожом, с гостинодворством. Садитесь на лихую тройку и проезжайте по святой Руси: у ворот каждого города старина встретит вас с хлебом и солью, с приветливым словом, напоит вас медом и брагою, смочит, спарит долой все ваши заморские

притирания и ударит челом в напутье каким-нибудь преданием, былью, песенкой. До сих пор вы видели только разносчиков, говорили только с извозчиками; теперь увидите бодрый, свежий, разноязычный, судя по областям, народ — народ, который мало изменился со времен Святослава, ибо татары и поляки мало имели дела с простолюдинами. Купцы торговали с ними, бояре ползали перед ними — народ только резался с ними или бежал от них и, заплатив раз в год черную дань сборщику, после не видал его в глаза *. В свою очередь, он редко видывал и бар своих, всегда собранных около князей или царя, и оттого до сих пор сохранил свою поступь, поговорку, свой обычай, облик, свой оригинальный характер, которого основание — авось, свою безрасчетную предприимчивость, свое простовидное лукавство, свою страсть ко хмелю и к драке, свой язык, столь живописный, богатый, ломкий; словом, это народ, у которого каждое слово завитком и последняя копейка ребром... Но где мне исчислить все девственные ключи, которые таятся доселе в кряже русском! Стоит гению топнуть, и они брызнут, обильны, искрометны. Смешно и указывать ему: бери вот отсюда, сделай то-то; он сам найдет, что ему надобно; он не пойдет справляться с риторикой и пиитикой... Словесность не наука, словесность искусство ⁸², ибо она творит, а не производит; а творчеству, а воображению закон не писан и никогда не напишется. Изящное всегда будет правильным. Вот почему нелепы попытки научить писателей писать; вот почему для словесности полезна лишь одна критика, ибо цель ее не поправлять автора, а приготовить читателя ценить его творение. Она не учит серинеткою ⁸³ соловья петь, не учит молнию летать, как бумажный змей, а дергает рассеянного охотника за полу и говорит ему: «Послушай, погляди, как это прекрасно!» Она судит не как судья, по книге, а как присяжный, по совести, положив руку на сердце, и, даже ошибаясь, приучает вас судить прямо. Так и не более скажу я свое мнение о были Н. Полевого; не более, как так. Прочь от меня эта самозванная, щепетильная критика, которая до сих пор пропитывается у вас кавыками и недоглядками, которая с холодом бесчувствия смотрит на изящное и шу-

* Почти все татарские слова, оставшиеся в нашем языке, припесены на вьюке и не касаются до коренного быта, например, фата (фита), серьги (сергияр), кушак (кульша), изъян (зиан), магарыч, тамга. Военные термины заняли мы прежде у азиатских кочевых племен.

пает его, как евнух, покупающий невольницу на базаре. Была б у нее мягкая кожа, была бы в ней указанная мера, а до ума, до души, до выражения лица что ему за дело! Misère! И они хвалятся мизером, они выигрывают на него! ⁸⁴

Господин Полевой схватил для своей картины тот момент, когда Русь стала подымать голову из двухвекового рабства. Сквозь туман, но блестит уже над ней звезда единодержавия. Выход в Орду еще платится, но власть сидит уже не на ковре ханов. Удельная гидра еще грызется с царством, но это последние ее попытки. Действие начинается в деревне, недалеко от Москвы, куда тянутся обозы, спеша к масленице и к свадьбе молодого великого князя Василия Васильевича Темного, который сел на княжение вопреки правам дяди своего Юрия Дмитриевича, уступившего первенство меньшому брату, Василию, но только брату по воле, племяннику по неволе, ибо на Руси искони велось (по праву, не всегда на деле), чтобы престол наследовать братьям, а не детям. Вот узел драмы, хоть он вяжется и развивается в ней иначе и не вдруг. В избу, в которой расположились обозники, приезжает, под видом купца, крамольный боярин Иоанн. Он бежит из Москвы, обиженный отказом великого князя жениться на его дочери, на которой честолюбивый старик сосватал было его. Выезжая с ночлега, сани его сталкиваются с санями князей Василия Косого и Дмитрия Шемяки, детей Юрия, которые скачут на свадьбу, в гости к великому князю. После ссоры в потемках путники узнают друг друга, и тут-то, вопреки укоров Шемяки, начинается ков обиженного честолюбия в лице Иоанна, обиженного властолюбия в лице Косого. Боярин подстрекает пылкого князя и негодованием и надеждою. У него в кармане важные бумаги, у него в голове умные советы, у него в груди месть Василию, который обязан престолом лишь его проискам у хана, — и все это он везет с повинною к Юрию, которого заставил недавно вести под уздцы коня отрока-племянника. Они расстаются, один готовый на измену, другой — на мятеж. Шемяка упрекает брата, что он слушает советов крамольника. Тот отвечает, что он обманул его притворным вниманием, что он только выведывал старика.

«— Ты обманул его? Но разве обман не есть уже грех? — говорит Шемяка.

— Отмолюсь! — смеясь отвечал Косой, отряхнув шапку свою. — Пойдем, пора».

Какая резкая черта — и в отношении к лицу Косого, и в отношении к понятиям времени!

В Москве уже подозревают Юрьевичей, и в то время, когда Косой подбивает удалых из князей себе в помощники, дума бояр, в которой хозяйничает мать великого князя, Софья Витовтовна, литвянка родом, безрассудная самовластница духом, решает схватить и заключить в оковы Косого и Шемяку при выходе с брачного пира. Венчанье конечно, новобрачные удалились из-за стола, и хмель, это единственное лето русских, расцветает все характеры, расплавляет тайны. Нетерпеливая Софья привязывается к Юрьевичам. Косой колет ее не в бровь, а прямо в глаз, намекнув, что Василий — незаконный сын ее; она забывается до того, что срывает своими руками с него меч и укоряет, будто золотой пояс его — краденый. Неистовая суматоха эта чуть не переходит в битву. Князья разъезжаются, мятеж вспыхивает. Юрий идет с войском на Москву; двор бежит. И снова племянник выгоняет дядю, и снова хилый, слабодушный старик, опершись о мечи смелых сыновей своих, завладевает Москвою, ссылает племянника на удел. Но в последний раз Кремль распахнулся перед ним гробом. В тот самый день, когда брат его Константин умирает в миру, приняв схиму, умирает и Юрий (оба остальные отрасли Донского), умирает на руках Шемяки. Покорный сын, Шемяка вскрывает духовную отца в совете бояр, в отсутствие брата, но в ней никто не назван великим князем. Великодушный Шемяка провозглашает снова Темного, Косой беснуется, укоряет брата и уезжает искать себе сторонников, чтобы отбить престол у Василия. Шемяка удаляется в удел свой Галич, как бы в довод того, что он не искал благодарности, что он исполнил подвиг самоотвержения, уважая права наследства. Заехав в гости к князю Заозерскому, в глушь северных лесов, он влюбляется в дочь его, сватается и едет в Москву звать великого князя к себе на свадьбу. Но подозрительный, неблагодарный Василий, воображая, что он заодно с Косым, велит схватить его на дороге обманом и заключить в тюрьму; потом вдруг переменяет политику, чтобы вернее погубить легковверного: мирится с ним, улещает его и дает ему пьяный, распутный, непокорный отряд — выживать из Тулы хана Махмета. Униженный, оклеветанный, обвиненный своими подчиненными в измене, Шемяка узнает, что брату его Василию выкололи глаза по приказу Темного, что его самого готовятся схватить для казни... Это опрокидывает

его душу: он бежит в Новгород, где вече, всегдашняя подпора изгнанных князей, наряжает ему войска воевать Москву. Тогда испуганный Василий присылает к брату инока Зиновия, чтобы склонить его на примирение, чтоб выпросить у него мир на всей его воле. Убеденный, тронутый им, Шемяка уступает: он не хочет кровопролития и прощает кровную обиду. Тесть и невеста его, доселе пленные в Москве, объедают его в Новгороде, — там он празднует свою свадьбу и едет в Галич. Были конец.

Вот главные события этой были; но автор понял, что как ни точны будь исторические сцены, они падут бездушны без игры характеров; как ни резки будь характеры, они не тронут читателя, если не оживятся какою-нибудь великою мыслию, — и вдунул в них самую поэтическую. Он обвинил пружину действия вокруг таинственной особы гудочника, который является везде, говорит всеми языками, все знает, всех выведывает, всех подстрекает. То он пешеход на дороге, то он паломник в монастыре, то он гудочник и сказочник перед боярами, то почтенный гражданин в Новгороде. Открывается нам из беседы его с архимандритом Симонова монастыря, его прежнего товарища, что он дал обет умирающему князю своему стараться восстановить суздальское княжение и отдать оное детям его. У гроба господня, в Иерусалиме, обрекает он себя страшною клятвою исполнить обет свой. С тех пор клятва становится его жизнию, его судьбою. Пусть двадцать раз разлетаются прахом его замыслы, пусть изменяют ему князья — он неумолим, неуклоним. Он ищет новых действователей, заключает с ними договор восстановить Суздаль, подтвердить Новгороду, его отчизне, прежние льготы и с новым жаром пускается в битвы и в ковы. Какая высокая романтическая мысль была изобразить человека, отдавшего в жертву все радости жизни, все честолюбие света, даже надежду за гробом, — преданности! Стремясь к цели, он топчет и людей и совесть, обманывает, лицемерит, похищает документы, рассылает ложные приказы, воссоставляет брата на брата... но он выкупает все это жаркою, бескорыстною любовью к пользам детей своего государя. Он возбуждает участие, как вольный мученик, предавшийся уничтожению и опасностям всех родов, не страшась ни смерти, ни казни. Вспомнив, что ему, как новгородцу, не мудрено было враждовать против Москвы, вы простите его. Вы будете уважать его за неподдельную, за непоколебимую твердость, и если не полюбите его, то

будете сострадать с ним в тяжелой и напрасной борьбе, им предпринятой,— напрасной, ибо он замыслил побороть время, подымая из ничтожества разбитый им порядок уделов; тяжелой, ибо сам видит тщету своих дум и козней. Некоторые журналисты упрекают автора, зачем он заставил гудочника говорить книжным слогом в рассказе дедушке Матвею о политическом быте Руси, особенно об Иерусалиме. Но знают ли эти господа, что для святыни и для учености у нас до сих пор между священниками, семинаристами и набожными людьми ведется особый, книжный язык? — Мы должны писать, как говорим, но в старину грамотей любили говорить, как писали. Прочтите разговор гудочника с Ворфоломеем и последний с Шемякою, и если он не разогреет у вас сердца и если вы и тогда в состоянии будете ловить кавыки,— ступайте pillar сандал или ноги, но ради бога не беритесь судить поэзии.

Другая властительная мысль автора (если не ошибаюсь) была та, чтоб оправдать Шемяку, запятнанного в народе худо понятою пословицею⁸⁵, очерненного историками на поруку переведенных летописей. С благородным жаром защитник Мстислава Удалого вырывает Шемяку из челюстей клеветы. Но он не изображает его идеалом. Его Шемяка — юноша с откровенным, прямым сердцем, с кипучею душою, с искренним желанием добра своему отечеству; но обстоятельства вонзают в него когти именно этих сторон и насильно увлекают в козни и мятежи брата. Он готов на мир и дружбу со врагами, но он горд, как русский князь, он покорен отцу, он любит брата. Своему за неволю друг, говорит пословица,— вот разгадка его действий сначала, но потом самоотвержение его запечатлено не религиозною печатью, как у гудочника, не клятва облегла его душу, не чужое мнение движет его,— напротив, он идет наперекор всем оттого, что оно бьет прямо из сердца... Его проступки принадлежат веку, его доблести — человеку. Как он спокоен в беде, как незаносчив при успехе! Как умиротелен он во вдохновенной беседе с Исидором, увлеченный пророческими мечтами этого грека; как грустно-глубокомыслен при пострижении князя Константина; как велик, возглашая врага своего великим князем, поправ, на обломках, надежды Косого, все личные выгоды, все семейные замыслы!.. Как недостижимо великодушен он, прощая Василию, когда новгородские дружины рвутся уже мстить за его обманы и обиды!

Напрасно думают, будто бы такие эксцентрические, мечтательные характеры были невозможны в средних веках. Вспомним, что духовные книги были единственным чтением лучшей молодежи; а духовные книги отторгают от земли, проповедуют самоотвержение, ставят правду всего выше. Не могли разве эти семена неба прозябнуть в сердце, более других чистом? Притом исповедь необходимо приучала людей мыслящих или глубоким чувством одаренных заранее допрашивать душу свою для мировой с богом, рыть в ней, следить ее, судить ее и смотреть на предметы духовным образом. В противоположность добросклонного Шемяки вторгается в очи Василий Косой, с его беззаветным честолубием, с его безрассудною отвагою, с его адскими страстями. Косой есть настоящий тип наших князей, действователей во время смут, каких-нибудь Ольговичей, например, у коих сердца были закалены в бусети. Покой душит его, крамолы, битвы ему воздух. Однако, несмотря на его запальчивость, которая доходит до того, что он собственной рукою убивает отчего любимца боярина Морозова, невольное внимание ложится на читателя с его призрака, будто холодная тень с вражеской башни.

Злой дух, советник его боярин Иоанн, отделан *con amore* *. Он широко развивает свиток своего русского макиавеллизма, смеси дерзости междоусобий с жестоким пронырством татарства, когда уже князья привыкли сражаться не железом, а пергамином, когда они хвалились не тем, кто кого перескакал, а кто кого переполз. Горькая истина говорит его устами, когда он перебирает по пальцам наличную Русь и высказывает собою ходячую нравственность Руси.

Зато характер великого князя обрисован слабо. Трудно провидеть в нем — Василия, с именем Темного, с темными делами, с властолюбием, которое хорошо понимало и удачно душило удельную систему.

Между второстепенных лиц особенно заметны дед Матвей и подьячий Беда. Нам еще и ныне могут встретиться, в классе просолов характеры, подобные Матвею, у которых трудолюбие и смысленность наравне с правотою, добротою, характеры утешительные, именно русские. Но, конечно, в дипломатах наших уже не отыщем мы Беды, этого образца старинных дьяков и окольных, мелочных до пустоты и твердых до геройства. Взгляните на этого Беду: он, так же хладнокровно убирает скамьи в совете,

* с любовью (*итал.*). — *Ред.*

как бросает договорные грамоты к ногам Юрия с опасностью жизни. Неземное лицо Дмитрия Красного — отрадно. Он болен жизнью; он звезда, упавшая с неба и тонущая в грязном омуте чужих свар. Юрий — занимательный образчик запоздалых суелюбцев, к коим честолюбие приходит с кашлем, которые живут чужим умом, действуют чужою волею, у которых доброта не доблесть, а слабость, у которых самое преступление не злодейство, а слабость. Хронологический порядок событий (ему же неизменно служил по обету своему автор) не дал разгулу драматичности, но события хорошо врамлены в подробности старинного быта, и из них всех любопытнее, ибо всех новее, описание Москвы того времени и *третьей княжих*, столь сходных по расправе с расправою древнего Парижа. Но барельеф, изображающий вече, бледен и неполон... Вообще должно признаться, что поспешность автора вести далее и далее, захватывая на дороге то и се, много вредит участию. Не успеешь погреться у огонька чувства — тебя влекут вперед, срывают слезу для усмешки, отводят от окна для картинки. Будьте, господа сочинители исторических романов, поскупей на подробности житейского быта и — всего более — не волочите их на аркане в ремонт свой. Пусть они будут попутчики, а не колодники наши, и если уже необходимо обставить сцену декорациями, то распишите их цветами слога. Новы предметы — сделайте их оригинальными. Стары они — обновите их мыслями, оборотите их незатасканною стороною, взгляните на них с неотоптанной точки и поверьте, что всякий горшок тогда найдет свою поэзию... Свидетели тому Гофман, Вашингтон Ирвинг, Бальзак, Жанен, Гюго, Цюкке. Писноснее всего мне писаки, заставляющие нас целиком глотать самые пустые разговоры самых ничтожных лиц, равно в шинке жида и в гостиной знатного барина; и все для того, чтоб сказать: «Это с природы!» Помилуйте, господа! Разве простота пошлость? Разве для того бежим мы в ваши альманахи от прозы общества, чтобы встретить в них ту же скуку? Природа! После этого тот, кто хорошо хрюкает поросенком, величайший из виртуозов, и фельдшер, снявший алебастровую маску с Наполеона, первый паятель!!! Искусство не рабски передразнивает природу, а создает свое из ее материалов. Неоспоримо, связочные сцены необходимы: это примечания, поясняющие текст; но выкупите же их замысловатостию своею, если нельзя дать предметам и лицам. Да и кто говорит, что этого

нельзя? Дайте нам не условный мир, но избранный мир. Пусть ваш пастух будет Гурт, ваш капрал Трим;⁸⁶ ваш ветреник Дон-Жуан,— но все это в русском теле, в русском духе. Наши Иваны Гуртовичи, наши Кремневы Тримовичи, наши Лидины Жуановичи приторны. Пусть всякий сверчок знает свой шесток; пусть не залетают настоящие мысли в минувшее и старина говорит языком ей приличным, но не мертвым. Так же смешно влагать неологизмы в уста ее, как и прежнее наречие, потому что первых не поняли бы тогда, второго не поймут теперь. В этом отношении язык разбираемой нами были очень неровен. То он не выдержан по лицам, то по времени. Слог порою тяжел и запутан, и лишь там, где говорят возвышенные чувства, разгорается он до красноречия. Такова беседа с Исидором, таково последнее свидание с гудочником. Я вырву два маленькие клочка, хорошо выражающие гнев и любовь Шемяки. От него послы великого князя требуют, чтобы он воевал против родного брата,— он выходит из терпения: «Открыто, прямо говорил и делал я,— еще ль не убежден в этом князь великий? Зачем же хитрить со мною? Или вы почитаете меня за такого олуха царя небесного, что я не замечу хлеба в печи и стану ее топить? Или вы хотите, чтобы я, отдавши все великому князю, своими руками принес голову родного моего брата и кровью его запил дружбу с Москвой, позор мой и унижение!»

Предчувствую, что при слове *олух* наши чопорные критики вонзят по крайней мере три восклицательные знака, как будто три отбитых бунчука! Никто не мешает им остриться; но я скажу по сердечному убеждению, что отрывок сей вместе силен и естественен. Гнев, как буря, возметающая со дна морей грязь и янтарь, выбрасывает из человека самые низкие выражения и самые высокие чувства. Так живописал гнев Омир, так Шекспир. Еще: Шемяке кажется, что кн. Заозерский не отдает ему Софии. «Знаю,— говорит он,— что она достойна венца великокняжеского: требуй его, скажи, ты увидишь — я готов и его добывать.

— Душа добрая, душа пылая, юноша по сердцу моему! обдумал ли ты все это?

— Я не в состоянии ни о чем думать. Знаю только, что если ты не отдашь ее за меня, то я сейчас еду, и не в Углич мой, но в Москву, на битву, в бой, за брата, против брата: кто первый начнет, тот будет мой товарищ».

Как часто, роясь в летописях, историки тратят до последней лепты свой ум и красноречие, чтобы найти причину какого-нибудь странного события, безрасчетного подвига! А он произошел от мгновенной прихоти какого-нибудь князя, оттого, что ему худо спалось или давно грезилось, или просто потому, что ему хотелось показать свое удаństwo, разгулять себя, забыть себя в битве. Это настоящий характер русских князей, влюбленных в славу или в деву.

Кончаю нехотя. Замечу при конце, что мы стоим на брани с жизнью, что мы должны завоевать равно свое будущее и свое минувшее, и не обязаны ли мы потому благодарностию тем людям, которые бесплатно, с усилиями, источающими жизнь, отрывают родную сторону изпод снегов равнодушия, из праха забвенья и облачают предков наших в жизнь, давно погибшую для них и столь свежую, кипучую для нас, воспроизводят мать-отчизну, точь-в-точь как она была, как она жила! Таков Полевой, так изображает он Русь, не умствуя лукаво, но чувствуя глубоко и сердцем угадывая таинственные иероглифы характеров, бывших непонятными даже тем, кои носили их на челе. Он пламенными буквами переписывает их на душах наших, затепляя души перед высоким, перед доблестным! Жалею о тех, которые не постигают или не хотят обнять мысли самоотвержения, проявленной на две грани в «Клятве»; но, убежден я, скоро настанет время, что отдадут справедливость Полевому, равно за его историю и повести, что публика не будет больше прятать в рукав свою руку, но подаст ему ее без перчатки и скажет от сердца: «Спасибо!» Впрочем, неполный успех «Клятвы» произошел, вероятно, от слога: ⁸⁷ это концерт Беттговена, сыгранный на плохой скрипке. Со всем тем «Клятва» есть дело не только труда и учености, но познаний и вдохновения; оно стоит не пустого любопытства, но душевного участия, не базарной похвалы книгопродавцев, но искренней признательности. Ждем с нетерпением, что автор, по своему обету, положит другой такой же цветок поэзии на могилу минувшего.

Впервые — «Московский телеграф», 1833, № 15, с. 399—420; № 16, с. 541—555; № 17, с. 85—107; № 18, с. 216—244, за подписью «Александр Марлинский», с пометой: «Дагестан, 1833» (Бестужев был в это время в ссылке на Кавказе.)

Статья подверглась цензурным искажениям. Как писал Бестужев Булгарину, «о ней нельзя судить по скелету, обглоданному цензурой. Половина ее осталась на ножницах, и вышла чепуха. Самые высокие по чувству места, где я доказывал, что Евангелие есть тип романтизма, — уничтожены» («Русская старина», 1900, № 1, с. 403). Бестужев предпринял попытку напечатать изъятый цензурой фрагмент статьи «О романе Н. Полевого...» в качестве отдельной работы, озаглавленной им «О христианской религии». Застрявшая в бумагах III Отделения, эта работа была разыскана и опубликована Н. Котляревским в 1907 году. Однако и эта находка не позволяла получить полноценное представление о статье Бестужева «О романе Н. Полевого...». Это стало возможно лишь после того, как М. И. Гиллельсон обнаружил в фондах отдела письменных источников Государственного Исторического музея список статьи, находившейся в московской цензуре. Свод искажений, которым подверглась статья при печатании, содержится в сообщении М. И. Гиллельсона «А. А. Бестужев и московская цензура» («Русская литература», 1967, № 4, с. 106—108). В настоящем издании они устранены. Таким образом, предлагаемая публикация является первой полной публикацией подлинного текста статьи Бестужева.

Статья «О романе Н. Полевого...» встретила критическую оценку Белинского, хотя некоторые ее положения были им одобрены. «...Вместе с этими мыслями, незрелыми, поверхностными и ложными, при этой неострой шутиливости, при этих вычурных фразах, при этом явном пристрастии к приятельскому издевию, — писал он, — сколько в этой статье светлых мыслей, верных замечок, сколько страниц и мест, горящих, сияющих, блестящих живым, увлекательным красноречием, резкими, многозначительными, хотя и краткими

очерками, бриллиантовым языком! Сколько истинного остроумия, неподдельной игривости ума!» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 32).

¹ Полное название романа: «Клятва при гробе господнем. Русская быль XV века» (ч. I—IV, М., 1832).

² Цитируется Жюль Жанен: «Критика в переходные эпохи заменяет, чего уже больше не существует, что еще не родилось. Тем самым критика — это вся поэзия, это вся драма, это вся комедия, это весь театр, это все, что занимает умы; именно критика наполняет страстью и забавляет; именно она просвещает и зажигает, именно она дает жизнь и убивает...» (франц.).

³ «Несчастный Никанор, или Приключения российского дворянина Г.» (1775) — роман неизвестного автора. «Евгений, или Пагубные последствия дурного воспитания и сообщества» (1799—1801) — роман А. Е. Измайлова.

⁴ Иван Великий — столпообразный храм-колокольня в московском Кремле (свыше 80 м высоты). «Иван» — указание на святого (Иван Лествичник), которому посвящалась церковь, а «Великий» на высоту сооружения.

⁵ Подовый — испеченный внутри русской печи.

⁶ Намек на историю возникновения альманаха «Новоселье». 19 февраля 1832 г. книжный магазин А. Смирдина переехал на Невский проспект. Собравшиеся по этому поводу литераторы подарили Смирдину по промзведению. Таким образом был создан альманах, имевший небывалый успех.

⁷ Слегка перефразированное изречение из Экклезиаста.

⁸ Намек на недавние исторические события: взятие Еревана во время русско-иранской войны 1826—1828 гг. и взятие Варшавы, которым завершилось Польское восстание 1830—1831 гг.

⁹ Белая бумажка — двадцать пять рублей.

¹⁰ В популярной историко-романтической мелодраме французского писателя Жильберта Пиксерика «Обриева собака, или Лес при Бонди» главный герой Обри Мондидье имел необычайно преданную собаку.

¹¹ Блиnnицы — то есть продавщицы блинов, нередко беззастенчиво торговали и собой, чем и объясняется сравнение, к которому прибег Бестужев.

¹² Э.-Ф. Видок — французский сыщик, авантюрист с темным прошлым, автор известных мемуаров, частично печатавшихся в России («Записки Видока»). Бестужев противопоставляет этот крайне сомнительный исторический документ трудам Б. Нибура, которого в России высоко ценили и даже называли «первым историком нашего времени» («Московский телеграф», 1832, № 1, ч. 43, с. 151),

¹³ Американский континент был назван по имени итальянского мореплавателя Америго Веспуччи.

¹⁴ То есть классицизму и романтизму.

¹⁵ С яиц Леды — буквально: с самого начала, с далеких времен. О происхождении этого выражения см. прим. Ю. В. Манна (В. Г. Белинский. Собр. соч., т. I. М., «Художественная литература», 1976, с. 632). В «Литературных мечтаниях» Белинский, прямо не называя Бестужева, иронизирует по поводу его стремления подходить к рассматриваемому вопросу издалека: «Начну мое обозрение с начала всех начал — с яиц Леды, — дабы показать вам, какое влияние имели на русскую литературу создание мифа, грехопадение первого человека, потом Греция, Рим, великое переселение народов... (там же, с. 53).

¹⁶ Сведений об этих лицах найти не удалось.

¹⁷ Г. Зонтаг — немецкая певица, в 1830—1837 выступала в России и пользовалась большим успехом.

¹⁸ Б.-Ж.-Э. Ласепед — французский биолог, автор книги «Histoire naturelle de l'homme» («Естественная история человека»), в которой он и говорит о четырех первобытных племенах.

¹⁹ Джон Буль — ироническое прозвище англичан.

²⁰ Моаллака — стихотворение, входящее в цикл поэтических произведений, объединенных в сборник «Муаллакат», в литературе доисламской Аравии.

²¹ Манценила — тропическое растение.

²² Франкони — семья французских цирковых артистов и предпринимателей, владельцев крупнейшего в Европе «Олимпийского цирка» в Париже. Говоря о Франкони-сыне, Бестужев имеет в виду Адольфа Франкони, наездника, владевшего «Олимпийским цирком» с 1827 по 1834 г.

²³ Ариман — согласно древнеперсидским представлениям, божество смерти, глава адских демонов, олицетворение зла и лжи. Христианские писатели отождествляли Аримана с сатаной.

²⁴ Гинецей (или гинекей) — отделение для женщин в домах древних греков.

²⁵ Источник этой цитаты установить не удалось.

²⁶ Имеется в виду поэма Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580), которая действительно была некоторым компромиссом между христианскими идеями и литературными традициями вергилиевского эпоса.

²⁷ Ср. эту характеристику с высокой оценкой «Генриады» в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» (см. наст. изд., с. 71). Вообще обращает на себя внимание то, что характеристика многих литературных явлений у Бестужева становится в начале 30-х годов более критической. В этой связи показ-

тельно его письмо к Н. А. Полевому от 29 января 1831 г., где он так отзывался о своих статьях в «Полярной звезде»: «Многое говорил я смело, но там, где еще сомневался, старина подсказывала на ухо похвалы вместо заслуженных насмешек, душа роптала, но языком новым, и я не всегда понимал ее: уста, еще влажные французским молоком, лепетали заученные песни» («Русский вестник», 1861, № 3, с. 289—290).

²⁸ *Атриды* — по греческой мифологии, дети микенского царя Атрея: Агамемнон и Менелай. Говоря о человеке-мещанине, родиче богов *Атридов*, Бестужев хочет подчеркнуть, что с конца XVIII в. вместо богов и царственных особ героями произведений стали просто люди, граждане (мещане).

²⁹ *Ксеркс* (V в. до н. э.) — персидский царь; *Югурта* (II в. до н. э.) — нумидийский царь.

³⁰ *Пирей* — греческий порт, созданный Фемистоклом. У Бестужева, видимо, этот порт ассоциируется с шумной плебейской средой, подгулявшими матросами. Именно в таком смысле упоминал этот порт в своих комедиях Аристофан.

³¹ *Сократ* — древнегреческий философ. Свое учение преподавал на улицах и площадях. Был обвинен софистами в безбожии и совращении молодежи. Осужденный на смерть, выпил предложенный ему яд.

³² *Ярило* — летний праздник у древних славян в честь солнца и огня.

³³ *Семик* — старинный весенний обрядовый праздник, зеленый четверг (отмечался в седьмой четверг после пасхи). Сопровождался плетением венков из березовых веток, песнями и играми.

³⁴ *Дафнис* — легендарный сицилийский пастух. *Мена* — богиня луны.

³⁵ Имеются в виду тексты ветхозаветных пророков, особенно Исайи, говорившие о наступлении царства добра и всеобщего мира (например, «Исайя», гл. 2, стихи с 1 по 5).

³⁶ *Индиго* — растение, из которого изготовлялась краска того же названия.

³⁷ *Кошениль* — самка насекомых. Из высушенной кошенили готовится пурпурная краска кармин.

³⁸ *Тарпейская скала*. — Сначала так назывался весь Капитолийский холм в Древнем Риме, а потом южная вершина его, с которой сбрасывали преступников и изменников.

³⁹ *Лонгобарды* — племя, принадлежащее к западным германцам.

⁴⁰ *Боабдил* (Боабдиль) — европеизированный вариант имени мавританского царя Абу-Абдаллаха Мухаммеда. Был эмиром Гранады, вел длительную войну с Кастилией, но потерпел поражение (1492 г.), следствием которого явилось, в частности, насильственное обращение мавров в христианство.

⁴¹ *Сегидилья* — испанский танец; *романсеро* — собрание испанских романсов.

⁴² Л. *Камонс* потерял все свое состояние во время кораблекрушения и вернулся в Португалию, привезя лишь рукопись своей ставшей впоследствии знаменитой поэмы «*Лузиады*».

⁴³ Герои трагедий Вольтера «*Заира*» (1732) и «*Альзира*» (1736).

⁴⁴ *Аква-тофана* — яд; *Медицисы* — Медичи; Н. *Витри* — начальник королевской гвардии при Людовике XIII. По приказу последнего убил всесильного маршала Д'Анкара и был произведен за это в маршалы. Ф. *Равальяк* — убийца французского короля Генриха IV.

⁴⁵ Французский теоретик поэзии Ш. *Батте* и поэт Ж. *Делиль* названы здесь как приверженцы классицизма.

⁴⁶ *Одеон* — театр в Париже; Ф.-Ж. *Тальма* — великий французский трагический актер, творчество которого знаменовало новый этап сценического искусства, что и дало основание Бестужеву назвать его революционером.

⁴⁷ *Диоген* — древнегреческий философ, проповедник строгой морали, вел аскетическую жизнь, довольствуясь только самым необходимым.

⁴⁸ *Система Лоу*. — Имеется в виду история с французским финансистом Д. Лоу, выпустившим необеспеченные банкноты. Это вызвало биржевой ажиотаж и быстро привело Лоу к банкротству. Источником сведений Бестужева об этой афере могла послужить большая статья А. Тьера «Жизнь и финансовая система Лоу», появившаяся в «Московском телеграфе» (1831, №№ 7 и 8).

⁴⁹ *Кребильон-сын* (К.-П.-Ж. Кребийон) — французский писатель, в произведениях которого изображен быт и нравы современного ему Парижа.

⁵⁰ Ж.-Б. *Грекур* — французский поэт.

⁵¹ Старинный кафтан у поляков и украинцев.

⁵² *Криспин*, *Валер* — традиционные имена персонажей французских комедий эпохи классицизма и Просвещения.

⁵³ *Систербеук* — другое название Сестрорецка; здесь находился известный оружейный завод.

⁵⁴ *Ленотр* (А. Нотр) — французский декоратор садов и парков.

⁵⁵ *Ванлоо* — фамилия нескольких французских художников. Большинство их картин находится во Франции. Некоторые — в Эрмитаже.

⁵⁶ *Экспликовала свою десперацию* — объясняла свое отчаяние (от фр. *expliquer* и *désespoir*).

⁵⁷ *Аттенция* — внимание (от фр. *attention*). С помощью этих иронических неологизмов Бестужев высмеивает «пристрастие русских к французской литературе», о котором говорилось выше.

⁵⁸ Н. Г. *Курганов* — писатель, автор знаменитого «Письмовника» (1769), учебника русского языка, бывшего настольной книгой в XVIII и начале XIX в.

⁵⁹ Имеется в виду, что Ф. А. *Эмин* подражал французской писательнице, автору популярных в свое время романов — М. *Скюдери*, а Я. Б. *Княжнин* — французскому драматургу Ж.-Ф. *Реньяру*.

⁶⁰ *Шиболет* — характерный признак, типичная особенность чего-либо.

⁶¹ *Изида* (Исида) — богиня Древнего Египта, покровительница плодородия, материнства, богиня жизни и здоровья. Культ Изиды распространился и на греко-римский мир. Говоря о *филярстве Изидина храма*, Бестужев скорее всего имеет в виду, что празднества в честь этой богини носили характер мистерий. *Розенкрейцеры* — члены тайного религиозного общества XVII в., стремившиеся к усовершенствованию церковных обрядов в Германии. «*Энд-Авеста*» — священная книга древних иранцев.

⁶² *Певец Минваны* — Жуковский (см. балладу «*Эолова арфа*»).

⁶³ Цитируется строка из поэмы В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вахх» (1771). «И весь седалища в нем образ напечатал» (песнь пятая).

⁶⁴ Э. *Гиббон* — английский историк-просветитель. Его «История упадка и разрушения Римской империи» содержит подробное изложение политической истории Римской империи. Б.-Г. *Нибур* — немецкий историк античности. Основной труд — «Римская история». Нибур полагал, что у древних римлян существовал свой эпос, но он не был записан и не сохранился, однако песни исторического содержания в измененном виде составили основу сказаний о древнейшем Риме.

⁶⁵ *Континентальная блокада* — экономическая политика, проводившаяся Наполеоном по отношению к Великобритании. Торговля с ней запрещалась, прекращался доступ во французские порты всех судов из Англии и европейских стран, покоренных Наполеоном. Блокада (1806—1814) была одной из попыток Франции добиться успеха в десятилетней войне с Великобританией.

⁶⁶ А. *Барант* — французский историк и государственный деятель. *Романтической летописью* Бестужев называет труд Баранта «История бургундских герцогов из Дома Валуа» (1824—1826).

⁶⁷ Установить источник цитаты не удалось.

⁶⁸ Р. *Гебер* — английский епископ, долгие годы живший в Индии и написавший книгу о ней.

⁶⁹ Д. *Теньер-младший* (правильнее Тенирс) — выдающийся фламандский живописец XVII в., полотна которого отличаются виртуозной тонкостью и тщательностью.

⁷⁰ *Веверлей* — герой одноименного романа Вальтера Скотта. *Эмпесинадо* — Хуан Мартин Диас (прозвище Эль Эмпесинадо), испанский патриот, один из организаторов партизанской войны против Наполеона 1808—1814 гг., генерал, участник революции 1820—1823 гг., после ее поражения казнен по приказу Фердинанда VII.

⁷¹ *«Освобожденная Москва»* (1798) — трагедия М. М. Хераскова.

⁷² Имеется в виду И. И. Лажечников.

⁷³ Имеется в виду роман П. Свиньина «Шемякин суд, или Последнее междоусобие удельных князей», 4 части. М., 1832.

⁷⁴ *Александр Орлов* — московский литератор, автор низкопробных, малохудожественных произведений.

⁷⁵ *Л. Вите* — французский драматург. Откуда взяты его слова, приведенные Бестужевым, установить не удалось.

⁷⁶ Латинский текст «Отче наш».

⁷⁷ *Черные клобуки* — каракалпаки. *Зубрят* — здесь: нарушают.

⁷⁸ *Электор* — средневековый титул курфюрста, имевшего право голоса при выборе германского императора.

⁷⁹ Персонажи пьес Шекспира «Сон в летнюю ночь» «Буря» пьесы Ш. Нодье «Трильби».

⁸⁰ Псевдоним В. И. Даля.

⁸¹ Имеется в виду роман-путешествие А. Ф. Вельтмана «Странник» (1831—1832).

⁸² Здесь Бестужев, по-видимому, полемизирует с мнением Баратынского, предлагавшего видеть в литературе «науку, подобную другим наукам» (см. его предисловие к отдельному изданию поэмы «Наложница», 1831).

⁸³ *Серинетка* — маленький орган (от фр. *serinette*).

⁸⁴ Игра слов: «*Misère*» — несчастье (фр.) *Мизер* — карточный термин, обозначает прием, сулящий крупный выигрыш.

⁸⁵ Имеется в виду пословица: «Шемякин суд» — то есть суд несправедливый.

⁸⁶ Герои романов В. Скотта «Айвенго» и Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди».

⁸⁷ Вскоре Бестужев отказался от этого мнения. 9 ноября 1833 г. он писал К. А. Полевому: «Какой я бездушник был, когда сказал, что слог был виной неуспеха «Клятвы», слог! Нет, черствые души читателей...»